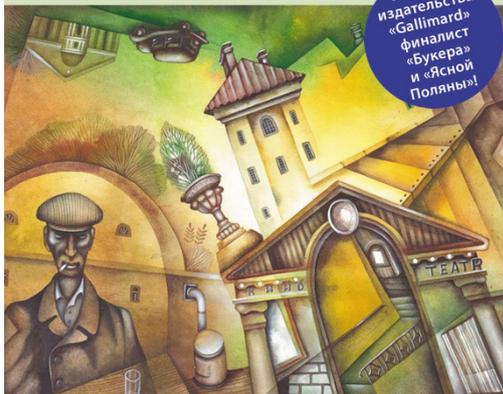


# ЮРИЙ БУЙДА

Вор, шпион и убийца



# Юрий Васильевич Буйда Вор, шпион и убийца

*Текст предоставлен правообладателем.  
[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=4987742](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=4987742)  
Буйда Ю. В. Вор, шпион и убийца : Эксмо; Москва; 2013  
ISBN 978-5-699-62607-6*

## **Аннотация**

Мир лежит во зле, понимает герой Юрия Буйды, с юности обожающий Кафку и вслед за ним мечтающий стать писателем: воровать у реальности образы, шпионить за малейшими движениями души и убивать мгновения, чтобы запечатлеть их навеки! Однако в нищете послевоенных лет писателям суждена совсем другая судьба: работа на заводе, случайные связи с женщинами, жизнь, близкая к животной... Но однажды он научится в собственном грехе черпать силы. Кажется, что, взрослея и приближаясь к исполнению своей мечты, герой Буйды из мертвой воды окунается в живую, чтобы в будущем закалиться от всех напастей!

## Содержание

Глава 1. 5040	4
Глава 2. Семерка	16
Глава 3. Триллиарды лиардов	27
Конец ознакомительного фрагмента.	33

# Юрий Буйда

## Вор, шпион и убийца

*«Лишь потому, что я такой, я буду жить».*  
*Шекспир, «Все хорошо, что хорошо кончается»*

### Глава 1. 5040

Утро началось с ведра, которое стояло в углу кухни. Первым к ведру подошел отец, его струя ударила в цинковое дно с режущим звоном. Второй была мать. Она постанывала: после недавних родов болела поясница, а мою младшую сестру она родила – шутка ли – в тридцать восемь лет. Третьей над ведром пристроилась нянька Нила, молоденькая смешливая девушка из деревенских, которая мочилась с закрытыми глазами, чтоб никто ее не увидел. Помочившись, каждый зачерпывал ковшиком из кадушки печную золу и высыпал в ведро.

Ведро служило по ночам или такими утрами, как сегодня, – холодными и черными, а днем взрослые ходили в уличный туалет. Это была деревянная будка с двумя отделениями – мужским и женским, до которой приходилось добираться по грязной тропинке между сараями.

Мне разрешалось пользоваться ночным горшком. Да и вообще никто меня не неволил, я мог оставаться дома и спать сколько влезет. Но не в этот день. Не в такой день. Сегодня – демонстрация. Родители брали меня с собой на демонстрацию трудящихся, посвященную Великому Октябрю, годовщине революции. Революция – это подвиг, а значит, и демонстрация – подвиг. И я отважно сел голый тощей задницей на холодный железный горшок.

Отец растопил кухонную плиту, печь в комнате, взял керосиновую лампу и ушел в сарай – кормить скотину, то есть поросенка, кур и кроликов.

Вскоре зашумел чайник, в квартире запахло котлетами, утюгом, подпаленной тряпкой, стало весело и нервно.

За окнами мало-помалу светало.

В тот момент, когда мать – голова в бигуди, но глаза уже подведены черным карандашом – позвала к столу, прозвучала Труба.

Городок жил по Трубе бумажной фабрики, которой подпевали трубы мукомольного и маргаринового заводов. Их голоса, конечно, не шли ни в какое сравнение с мощным басом главной Трубы – идеального восьмидесятиметрового конуса из красного кирпича, который был виден из любой точки городка. Фабрика работала круглосуточно, безостановочно, и трижды в день, каждые восемь часов, Труба звала на работу новые смены сушильщиков, сеточников, каландровщиков, грузчиков, электриков, учетчиков, нормировщиков, инженеров, столяров и сторожей. Но сегодня она звала всех свободных от смен на демонстрацию, на подвиг.

От нашего дома до проходной фабрики было минут десять ходу, поэтому мы и не торопились.

После завтрака нянька занялась грязной посудой, мать – разборкой бигуди, а отец взялся за бритве. По воскресеньям он ходил в парикмахерскую, где пузатый еврей Левка брил клиентов по старому обычаю: с пальцем – за десять копеек, с огурцом – за пятнадцать. То есть он засовывал клиенту в рот палец, чтоб натянуть щеку для чистого бритья, а если посетитель был готов раскошелиться, то вместо пальца Левка использовал огурец. Отец брился с огурцом. В будние дни он, разумеется, брился сам.

Отец поставил на подоконник зеркало, положил на блюдечко кусочек квасцов, взбил в латунном стаканчике мыльную пену и стал править на туго натянутом кожаном ремне трофейную бритву, бросив мне через плечо: «Три раза». До выхода я должен был не менее трех раз помочиться, чтоб во время торжественного шествия не бегать по кустам.

Мать достала из шкафчика шкатулку с наградами и молча посмотрела на меня. Я закивал головой: да-да-да. Я был уверен, что все ордена и медали отца на месте.

Играя в войнушку, ребята надевали отцовские медали-ордена, и случалось, теряли их. За это нас, конечно, наказывали, но без страсти: взрослые в те годы старались забыть о войне, жить будущим и не придавали такого значения своим боевым наградам, как при позднем Брежневле. В нашей мальчишеской компании были и немецкие награды – кресты и медали, которые мы находили на чердаках, в развалинах или выкапывали на огородах. Их нацепляли те, кто играл «за немцев».

Отец надел пиджак, выпрямился, мать встала на низкую скамеечку и стала прикреплять награды, действуя в строгом соответствии с приказом №240 от 21 июня 1943 года «О правилах ношения орденов, медалей, орденских лент, лент медалей и военных знаков отличия военнослужащими Красной Армии»: орден Красного Знамени и медаль «За отвагу» – слева, орден Александра Невского – справа. Отец помнил этот приказ наизусть и терпеть не мог фильмов, в которых солдаты и офицеры шли в атаку с наградами на груди, что было запрещено: «С полевой формой награды носили только по государственным праздникам, а перед боем сдавали старшине роты под расписку».

Мать ворчала: «Пора бы второй пиджак купить или построить, а то в этом – и в пир, и в мир, и в честные люди... ну вот, кажется, все...»

Отец повел плечами и снял жену со скамеечки.

Нянька прижала пухлые ручки к пышной груди и прошептала: «Жених...»

Отец дал ей щелбана.

Наконец мы вышли во двор, где уже собрались соседи.

Ближайшим нашим соседом был дюжий седобородый старикан Добробабин, кавалер четырех Георгиевских крестов и трех орденов солдатской Славы. Он был замечательным плотником, столяром и бабником. Рассказывали, что однажды он закрыл в гробу заказчика, чтобы тот «пообвыкся», и пока тот обвыкался, так отходил хозяйку, что она ему заказала еще один гроб – для следующего мужа. Женщины с усмешечкой называли старика Кавалером.

Старик с поклоном приветствовал жену Витьки Колесова – Кристину, виленскую польку, которую все во дворе звали пани Крысей, а за глаза – Крысой-в-Шляпе, хотя она была милой дамой и главным экономистом бумажной фабрики, а ее шляпкам завидовали все женщины.

Я сразу кинулся к ровеснику Женьке Нестерову. Нас называли молочными братьями: когда у моей матери кончилось грудное молоко, Женькина мать, тетя Лида Нестерова, поделилась со мной своим. Она была огромной и доброй женщиной, подкармливала нас то медом с огурцами, то простоквашей с хлебом. А ее старшая дочь – четырнадцатилетняя Настена, могучей статью пошедшая в мать, – однажды зазвала нас с Женькой в кусты за туалетом и дала пососать свои холодные груди.

Муж тети Лиды работал каландровщиком, был человеком смирным и сильным: однажды он на спор зубами выдернул из бревна толстенный ржавый гвоздь.

Этажом выше Нестеровых жили Байкаловы. Про бесшабашного Леху Байкалова соседи говорили: «Метр курит – два бросает». Во время войны он был командиром торпедного катера, а теперь работал главным механиком фабрики. Леха носил тельняшку и фуражку-капитанку с золотым «крабом», пил водку левой ноздрей, то и дело дрался с женой – маленькой кривоногой рыжухой Зинкой, которая подозревала, что ее муж переспал чуть не со всеми женщинами в округе.

И первой под ее подозрение попадала Марина Пашенко, которую и взрослые, и дети, и даже кассирша в день полочки называли Пащей. А Зинка Байкалова звала ее Королевой Бузины.

Почти весь наш городок лежал в развалинах – всюду огрызки домов, стены с оконными проемами, подвалы без зданий, и все это поросло кустами бузины. Летом ее густая листва скрывала все это убожество, в кустах можно было наскоро справить нужду, потому что на весь городок не было ни одного общественного туалета, а мужчины там выпивали – подальше от посторонних глаз. Вечерами влюбленные после кино, прогулявшись по городу, посидев в пустом зале ожидания железнодорожного вокзала, постояв на мосту через Лаву, забирались наконец в заросли бузины, где свобода одного ограничивалась лишь свободой другого. И если после этого у девушки появлялся ребенок, отца которого было невозможно отыскать среди одинаковых солдат местного гарнизона, про такого ребенка говорили: «Из бузины».

У Пащей было узкое горбоносое лицо с крупными губами, высокая шея, большая грудь, узкая талия, мощные бедра, округлые мускулистые икры, а пальцы на ногах у нее – наверное, из-за заостренных ногтей – были похожи на птичьи когти. Когда она выходила во двор развешивать белье – раскрасневшаяся, в коротком платье-рубашке, босая, с прилипшими ко лбу русыми кудрями – и поднималась на цыпочки, доминошники за столиком под деревьями замирали, затаив дыхание.

Обе ее дочери были «из бузины», и старшая белобрысая Ниночка, и младшая смуглянка Верочка, обе от неизвестных отцов. Костистая Ниночка дралась как мальчишка, хорошо училась и презирала мать. А Верочка, моя ровесница, была настоящей *пащей*, падшей, и она любила, чтобы ее лизали. Забравшись в укромное местечко, она раздевалась догола и позволяла мальчишкам облизывать ее сладкое пухлое тельце, каждую сладкую складочку, каждый сладкий пальчик, и два жалких мышонка, дрожа от страха и стыда, толкаясь и мыча, с наслаждением лизали ее упоительные складочки и липкие ее пальчики, а она урчала и стонала, доводя нас до изнеможения. Но потом появлялись братья Костылевы – уж эти-то трое знали, что нужно делать с разомлевшей Верочкой, и гнали нас взащей.

Шептались, будто эти подростки по ночам шастали к старушке, которая жила на Первом хуторе со своей Люболей. Это были сиамские близнецы, сросшиеся Люба и Оля, у которых были две ноги и три руки. Если кто-нибудь вступит с ними в драку и схватит чудище за руки, его третья рука внезапно выскочит из-под накидки и ударит противника ножом. И вот с этой-то страшной Люболей дикари Костылевы якобы любили позабавиться.

Семья Костылевых была большой, злой и вечно голодной. Мальчишки тащили в рот все, что казалось им съедобным, даже речных устриц-жемчужниц, которых варили в ивняке на костре.

– На мясо не годятся, только на пуговицы, – сказал однажды про Костылевых Леха Байкалов. – Список смертных грехов, а не люди.

– Список смертных грехов, – возразила ему Вероника Андреевна Жилинская, – это не только список всего зла и дряни, на которые способны люди, но это еще и список человеческих возможностей.

Байкалов снял фуражку и дурашливо поклонился Веронике Андреевне, которую уважал за ум, твердость и непробиваемый идеализм.

Она работала медсестрой в госпитале для безнадежных инвалидов войны, и когда в Москве решили избавиться от колясочников, сослав их со всей страны на Валаам, на верную погибель, ночью тайком вынесла в мешке за плечами своего Илюшу, который вскоре стал ее мужем и отцом троих ее дочерей – таких же умных, ясноглазых и твердых, как их мать. Жилинская выучилась в институте и стала врачом-педиатром – ее уважал весь горо-

док. А ее муж был мастером на все руки: чинил замки, велосипеды и будильники, лудил кастрюли, плел ивовые корзины и знал наизусть всего «Евгения Онегина».

Я много раз потом слышал от Вероники Андреевны это странное выражение про список смертных грехов, пока не понял, что смысл-то его, в общем, ясен и прост: человек может и должен черпать силы в осознании собственной греховности. Эта мысль была дорога Веронике Андреевне еще и потому, что, как потом я узнал от матери, всех троих дочерей она родила не от любимого Илюши, который был бесплоден, а от другого мужчины, одного и того же, чтобы девочки были похожи хотя бы друг на дружку. Она любила мужа, в этом не было никаких сомнений, и в то же время спала с другим мужчиной, от которого рожала дочерей.

Много лет спустя я попытался вычислить этого мужчину, понять, что он чувствовал, глядя на безногого мужа Вероники Андреевны, который светился от счастья, держа за руки своих девочек, и что чувствовала при этом Вероника Андреевна, и голова у меня пошла кругом.

«Не гадай, – сказала мать. – Это был хороший человек. Он любил Веронику, а она любила его – хорошие дети рождаются только от любимых мужчин – и любила своего Илью. Это любовь, а не трагедия. В жизни трагедий не бывает, а бывает либо любовь, либо пустота. А чтобы понять чужую жизнь, надо прожить свою».

– Ну что, Василий Иванович? – обратился к моему отцу кавалер Добробабин. – Пора?

Отец кивнул, мать взяла его под руку, и вся компания, побрякивая медалями и благоухая «Красной Москвой», направилась к фабрике, откуда уже доносились звуки духовых оркестров.

С порога нам левой рукой махала Нила – в правой у нее было ведро с семейной мочой.

На асфальтовой площади перед воротами фабрики – столпотворение, людское коловращение. Все поздравляют друг дружку с праздником и все отвечают: «И вас так же». Мужчины хвелятся хромовыми сапогами с головками и спорят о том, какую шляпу – с какими вмятинками с боков и сверху – имеет право носить начальник цеха, а какую – только министр, бегают в чипок – кирпичную будку напротив проходной, где раскрасневшаяся буфетчица – половину магазина занимает ее грудь, остальное пространство ее прическа – наливает всем по сто; женщины в шالях, шапках, пуховых платках, с муфтами, в туфлях, в ботиках, напомаженные – притопывают, хохочут, широко открывая рты с золотыми зубами; друзья Костя Мышатьев и Жора Канделаки, подкидывая в воздух смушковые шапки, ходят кругами, грозно поглядывая друг на дружку и цокая подковками, пока цыган Серега издали заводит плясовую на сумасшедшей своей гармонии, а жены плясунов – смуглая тонкая красавица Машка Мышатьева и статная белокурая красавица Ирина Канделаки – прячут алые носики в воротники; много инвалидов с орденами на гимнастерках; много вдов, поглядывающих на мужчин, выставив из-под пальто ножку в чулке-сеточке; много воздуха, много света, хотя солнце скрыто за серыми облаками; на холодном ноябрьском ветру хлопают флаги и транспаранты, в толпе раздают портреты Маркса, Энгельса, Ленина, Хрущева; у меня в руке маленький флажок со звездой, голова кружится от радостного волнения... вот-вот тронемся... вот-вот... вот зашевелились... тронулись! тронулись! Впереди – тяжелые бордовые знамена, за ними оркестры... гармонисты рвут наперебой, Костя Мышатьев и Жора Канделаки пускаются в пляс, вприсядку, двигаясь вместе с колонной, много кумача, пахнет водкой, гуталином, «Красной Москвой» и «Шипром», звенят и сверкают медали, справа внизу тускло мерцает узкая речушка Лава, а за нею темнеет лесистый остров, а за ним высятся тяжелые кирпичные корпуса картоноделательного участка и мукомольного завода, и все это великое множество – тысячи мужчин, женщин и детей, инвалидов и вдов, несчастных и влюбленных, беременных и полых, слепых и жадных, жарко дыша, топая и цокая, под рев труб и переборы гармоней, под залихватские выкрики и бабий хохот, под хлопанье знамен

– двинулось, двинулось, пошло-пошло, топая-шаркая-шлепая-приплясывая, и когда голова колонны миновала железнодорожный переезд и поднялась на первый мост, серые облака вдруг разошлись, поднялись вверх и легли по бокам, и мне было явлено чудо: увидел я город на высокой золотой горе, столбчатый город великий и белый, и над его башнями и куполами ослепительно вспыхнуло солнце, и этот бессмертный свет проник в мою душу и поразил ее навсегда...

– Не зевай, – сказал отец, беря меня за руку. – Шире шаг.

Мы прошли мимо сожженных и разбитых домов, на фасадах которых кое-где сохранились немецкие надписи, между сплошными развалинами, заросшими бузиной, и остановились на площади, которая была вымощена крупными плоскими сизыми и красными камнями, вырубленными из морен доисторических ледников. Над площадью нависал безверхий древний собор со стрельчатыми гигантскими глазницами, построенный в 1380 году тевтонскими рыцарями, в этот собор дети бегали справлять нужду, но никто не обращал на это внимания: это была наша жизнь, наша обыденность. Мы сами были этой жизнью.

Мы стояли посреди разора и запустения перед трибуной, с которой к демонстрантам обращался с речью директор фабрики, но его никто не слушал, хотя когда он делал паузу, площадь разражалась аплодисментами.

А потом прозвучали фанфары, к микрофону наклонился мужчина в серой папаше, с полковничьими погонами и хрипло прорычал:

– Парра-а-ад! Рравняйсь! Смирррна-а-а! Слушай мою команду-у-у! Побатарейна-а-а! На одного линейного! Арш!

И сверху, со стороны Банного моста, под звуки четырех оркестров со стройным тяжелым грохотом двинулись бурые шинели, серые шапки, черные петлицы со скрещенными пушками, кирзовые сапоги, высекавшие искры из доисторической мостовой, батарея за батареей, ракетчики-зенитчики, ракетчики-стратеги, ура-ура-ура, и во главе каждой батареи – офицер в фуражке с лаковым козырьком, подпоясанный золотым поясом и нечеловечески высоко вскидывавший свои великолепные саблеобразные ноги в блестящих сапогах...

Потом под те же оркестры за военными двинулась школа, волнуясь знаменами и бумажными цветами, за нею, конечно же, бумажная фабрика, за нею мукомольный завод, маргариновый завод, железнодорожники, мелиораторы, и все кричали «ура!» и «слава!», откликаясь на призывы маленького очкастого человечка, который на трибуне терялся среди огромных мужчин – директоров, генералов, ветеранов партии и лютого кавалера Добробабина, хищно высматривавшего в толпе заказицу попригожей...

Когда демонстрация завершилась и колонны превратились в толпы, площадь окружили несколько крытых грузовиков-буфетов. Откинулись их задние борты, и люди бросились покупать конфеты в коробках и на вес, шоколад, печенье, вафли, колбасу, пиво, лимонад, водку, коньяк, флакончики с духами и черт знает что еще.

Начинался дождь, но многие и не думали расходиться.

Оркестр играл «На сопках Маньчжурии», «Амурские волны» и «В лесу прифронтовом».

Мужчины пристраивались на корточках в кустах, откупоривали бутылки, подмигивали вдовам, и те как бы нехотя, томно щурясь от папиросного дыма, покручивая зонтики и покачиваясь на плавных ногах, обтянутых чулками-сеточками, присоединялись к компаниям.

В грузовики с грохотом летели портреты, свернутые знамена и транспаранты.

Люди семейные отправлялись по домам, к праздничному столу, молодежь закупила вино, чтобы зарядиться перед танцами в фабричном клубе.

Директор фабрики отдал свой серебристый «хорьх» женщинам, которые измучились ходьбой на шпильках. Отец сказал, что заглянет в Красную столовую, сто граммов – и домой.

Красная столовая – полуподвал со сводчатым потолком – находилась в обычном краснокирпичном доме под черепичной крышей, окруженном десятками сараев и сарайчиков. Сюда обязательно заглядывали на кружку пива «с прицепом» после аванса и полочки, обмыть покупку или рождение первенца, а то и просто посидеть, потреться. Винегрет с селедкой, иногда – котлета, а чаще кусок хлеба, густо намазанный горчицей, – вот и вся закуска.

О чем там только не говорили! До каких высот лжи там только не доходили! О войне если и вспоминали, то вовсе не по-книжному, не по-киношному: этому удалось в медсанбате провести ночь с медсестрой, которая принесла ему спирта, поставив стаканы на свои груди и по пути не пролив ни капли; а тот вез домой *ажный чемодан* часов из Германии, да по пути проигрался в карты в пух; третий рассказывал о том, как в драке оторвал немцу руку и перепугался до смерти, пока не понял, что рука-то – деревянная, протез... И еще много было разговоров о еде и выпивке: где что ели-пили, да сколько, да кто больше съел.

В тот день больше всех съестъ взялся двухметровый толстяк по прозвищу Гусь. Когда отец, директор фабрики и я вошли в Красную столовую, Гусь успел съестъ почти полное ведро вареных яиц *в скорлупе*. Споривший с ним шофер Витька Фашист не спускал глаз с гиганта, который доставал из ведра очередное яйцо и проглатывал не жуя. Горло Гуся при этом вздувалось и опадало.

Директор и отец выпили по стопке водки, мне перепал бутерброд с сыром.

Все смеялись над Витькой – он проигрывал: на дне ведра лежали всего три яйца.

– Четвертое съешь – с меня рупь сверху! – прошипел Витька, протягивая Гусю еще одно яйцо, вынутое из кармана. – Рупь!

Гусь съел те три, что оставались в ведре, и четвертое. Горло его вздулось и опало.

Витька отсчитал победителю десять рублей бумажками и рубль мелочью.

Гусь поманил буфетчицу. Она принесла кружку пива. Гусь выпил залпом, оглушительно рыгнул и вышел из столовой.

– Ну сволочь, – растерянно сказал Витька Фашист. – Я ж ему камень подсунул. Понимаете? Яйцо у меня было в кармане – каменное. И камень сожрал – не подавился. Ведро яиц и камень! И ничего!

Все хохотали.

Когда мы вышли во двор, директор фабрики задумчиво проговорил:

– И ведь ничего, Василий Иванович, и ничего. С таким народом и Гитлера победили, и ничего, и кого угодно еще победим.

– Победим, Александр Максимович.

Директору не хотелось уходить. Когда он возвращался домой пьяным в стельку и ставил ноги в таз с горячей водой, жена снимала с гвоздя полотенце, завязанное с одного конца узлом и замоченное в воде, и принималась лупить его по голове. Об этом в городке знали все.

«Как ты понимаешь, Клава, что он – в стельку?» – спрашивали директоршу.

«По носкам, – отвечала Клава. – Если ставит в таз ноги, не сняв носки, значит, в стельку».

Мы оставили Александра Максимовича у Красной столовой и пошли домой.

Увидев нас, Пащая задернула занавески, чтобы мы не разглядели Леху Байкалова, который сидел в ее кухне. С папироской в зубах, без тельняшки, но в фуражке-капитанке, он пытался выбить пробку из бутылки.

Я вдруг вспомнил, как однажды тетя Лида Нестерова шепотом рассказывала моей матери о бесстыжей выходке Пащей: когда ей не хватило денег на коньяк, она предложила красавчику Темуру, продавцу, в качестве доплаты на выбор – трусики или лифчик. Красавчик Темур что-то прошептал, и Пащая, не сводя с него насмешливого взгляда, вытащила из-под

юбки свои красные трусики, кинула их на прилавок, взяла бутылку и вышла с гордо поднятой блядской головой. Красные трусики, подумать только. «А сколько звездочек? – спросила мать. – Коньяк – сколько звездочек?» – «Пять!» – «Прогодал Темур, – сказала мать. – Мог бы еще и лифчиком разжиться».

Где-то в темной дали была Люболя, которую по ночам выпускали погулять.

Нас ждал накрытый стол.

Отец поднял рюмку и сказал: «За победу».

Помню, тогда многие даже за новогодним столом поднимали тост за победу.

Меня сморило, и мать велела няньке отвести меня в постель.

Нила раздела меня, укрыла одеялом, легла рядом, взяла за руку и сказала:

– А в чужих домах я снов не вижу. Это хорошо или плохо?

Но я уже не мог пошевелить языком.

Почти все мальчишки мечтали побывать в водонапорной башне, которая стояла у железнодорожного переезда, рядом со старым немецким кладбищем, неподалеку от средней школы. Башня была красива: красный кирпич, строгие линии, узкие окошки, крыша, увенчанная медным шишаком. Но попасть внутрь было почти невозможно: самые нижние окна были прорезаны на двухметровой высоте и зарешечены.

Отцу в башню понадобилось по делам, а я оказался под рукой.

Мы вступили под своды башни как в храм.

Здесь стоял полумрак, хотя все было ясно различимо: какие-то шкафы и механизмы по стенам, пожарный щит и деревянная лестница, штопором возносившаяся под крышу.

Наверху ворковали голуби.

Отец легонько подтолкнул меня, и я, схватившись за перила, двинулся наверх.

Лестница раскачивалась, вдобавок ступени и поручни были сплошь облеплены голубиным пометом. На середине подъема я остановился, посмотрел вниз, но отец сказал, не повышая голоса: «Тронул – ходи». Он учил меня игре в шахматы, и это было первое шахматное правило, которое я выучил: «Тронул – ходи». Глубоко вздохнув и стараясь не зажмуриваться (этому тоже учил отец: «В драке не зажмуривайся»), я преодолел еще сколько-то ступенек и оказался на железной площадке, которая окружала огромный бак с водой.

Отец поднялся легко и быстро, опустил на колени и стал делать записи в блокноте.

Я присел перед узким окошком, схватился за поручни и выглянул наружу. Черепичные крыши домов, толевые крыши сараев, кроны каштанов и лип, чешуйчатые мостовые, блеск реки и железнодорожных путей, а еще – тихий гул ветра и частый стук сердца.

Я увидел весь город, целиком. Многие уголки его были скрыты деревьями, многие детали неразличимы, но именно тогда, именно в тот миг образ города сложился в моем сознании, в моей памяти, в моем сердце раз и навсегда. И когда я вспоминаю о нем, город всплывает перед моим внутренним взором вот таким, каким я увидел его в тот день, во всей простоте и неизбежности: черепичные крыши домов, толевые кровли сараев, кроны каштанов и лип, чешуйчатые мостовые, блеск реки и железнодорожных путей, а еще – тихий гул ветра и частый стук сердца.

Другой жизни у меня не было, как у греков не было ничего, кроме Трои, которую они так проклинали. У меня достаточно причин для того, чтобы вспоминать о родном городке без радости: жизнь наша была скудной, унылой, иногда – непристойной, подчас – жестокой и унижительной, почти всегда – невыносимой. Но я снова и снова поднимаюсь по той винтовой лестнице, заляпанной голубиным пометом, и с замирающим сердцем выглядываю в окно.

Эту болезненную потребность – чем ее объяснить?

Я не принадлежу, а может, никогда и не принадлежал к тем людям, которые считают, что в воспоминаниях о детстве, о родном городе человек черпает новые силы или приобща-

ется к той духовной чистоте, которая якобы свойственна детству, невинной жизни на лоне природы и т.п. Весь мой опыт восстает против этого примитивного руссоизма.

Однако эта потребность существует, и от нее не уклониться.

Я думаю, речь идет о стремлении человека к восстановлению собственной целостности.

Настоятельница Рупертсбергского монастыря Хильдегарда Бингенская, великая пророчица и святая, жившая в XII веке, утверждала, что человек, изгнанный из рая, портится, лишается речи, то есть смысла жизни, и его болезнь – не событие и не процесс, а состояние дезинтеграции, а его воля – это воля к небытию. Образ жизни такого человека и все его проблемы, физические и духовные, святая Хильдегарда связывала с *modus deficiens* – состоянием недостаточности, с дефицитом божественности. Исцеление человека достижимо лишь на пути к целостности, в конце которого человек обретает смысл жизни и цель. Бингенской святой на свой манер вторит Мартин Бубер, который как-то заметил, что еврейское слово «конец» (в выражении «конец света») означает «цель». Мир, движущийся к неизбежному концу, обретает цель, придающую смысл человеческому существованию.

Наверное, именно с той поры, с того дня, когда я побывал в башне, я и считаю своим городом только тот, который можно окинуть взглядом. Я всех в нем знаю, или их знают те, кого знаю я, и они знают меня.

Платон признавал самым удобным то число, которое обладает наибольшим количеством последовательных числителей, а число 5040 имеет 59 делителей, последовательных же – от единицы до десяти. Именно столько – 5040 – должно быть жителей в идеальном городе Платона. Математик Герман Вейль писал, что с точки зрения величины нет особой разницы, будет ли число жителей города 5040 или 5039. А вот с точки зрения теории чисел между ними расстояние – как от земли до неба. Число 5040 равно  $2 \times 3^2 \times 5 \times 7$ , то есть имеет много частей, тогда как 5039 – простое число. Если в идеальном платоновском городе ночью умрет один житель и число жителей уменьшится до 5039, то весь город придет в упадок. То же самое случится, если число жителей увеличится до 5041-го. А когда это случается, в городе появляются убийцы, проститутки, фальшивомонетки и лжепророки.

Когда я родился, в моем городе стало 5040 жителей.

И столько их и осталось навсегда в моей памяти.

До переезда на Семерку мы жили рядом с бумажной фабрикой, на улочке, состоявшей из трех домов, и занимали в первом этаже двухкомнатную квартиру с большой кухней, но без туалета, а мыться ходили в городскую баню. От вымощенной шведским гранитом дороги нас отделяли железнодорожная линия, по которой паровоз то и дело таскал на фабрику вагоны с целлюлозой, силикатным клеем и каолином, и водокачка – водопроводная станция – одноэтажное здание, окруженное голубыми елями и проволочным забором.

Хозяином водокачки был Калитин, веселый выпивоха и мастер на все руки: он отвечал за все водопроводное хозяйство в городке, заведовал фабричным клубом и крутил кино. Но больше всего он славился своей коптильней, которая стояла рядом с водокачкой, за забором.

Все мальчишки мечтали о калитинском копченом сале. До него было рукой подать – оно висело на крюках в коптильне, из-под крыши которой тянуло дымком. Сало, много сала с прожилками мяса. Восхитительное, дивное, потрясающее, вкусное, как ананас. Отец говорил, что у матери получают не щипки, а настоящий ананас. Он никогда не пробовал ананас, даже не знал, как ананас выглядит, но в городке все так говорили, когда речь заходила о чем-нибудь очень-очень вкусном. Калитинское сало было ананасом. Мы бредили этим салом и чуть не каждый день заводили разговоры о том, как было бы здорово отвлечь калитинских овчарок, бежавших за забором без привязи, и украсть хотя бы небольшой кусочек этого чудного сала.

Вообще-то сало было едва ли не основой нашего тогдашнего рациона. Сало, вареная картошка, молоко, простокваша, селедка. Ну и хлеб, конечно, липкая кисловатая чернышка по двенадцать копеек, которую часто использовали вместо замазки, когда закупоривали окна на зиму. Но домашнее сало было простым салом, с чесноком и солью, а калитинское – копченым, никто из нас никогда такого не пробовал.

Кто-то из ребят рассказывал о парне, который однажды забрался в коптильню и попал в волчий капкан. Калитин подвесил парня за ребро на крюк, подкоптил, а потом науськал на несчастного своих псов.

В Питере – так назывался поселок за фабрикой и маргариновым заводом – жили цыгане, воровавшие у горожан кур и кроликов, поэтому почти в каждом сарае жил сторожевой пес, который рычал на прохожих из-за двери. В курятниках, крольчатниках, свинарниках и даже в коровниках и дровяниках – за каждой дверью вора поджидал лютый пес. Или капкан. Или хозяин с ружьем, заряженным ядовитыми пулями.

Однажды мужчины поймали на чердаке цыганенка, который пытался украсть белье – простыни, наволочки, женские ночные рубашки. Его сволокли во двор, повалили и принялись избивать – молча, жестоко, и мальчишка тоже молчал, закрывая голову тонкими черными руками. Когда цыганенок захрипел, мой отец спустился с крыльца и остановил мужчин. Он взял мальчика за шиворот и повел между сараями вниз, мимо огородов, к болоту, вдоль которого тянулась тропинка, выведившая к фабрике. Я думал, он убьет воришку – утопит в болоте или оторвет голову, как наш сосед дядя Витя Колесов отрывал головы крысам – двумя пальцами-крючками, указательным и средним. Но отец отпустил мальчишку. Дал щелбана и отпустил.

Когда он вернулся во двор, дядя Витя Колесов сказал: «Спасибо, Василий Иванович, ты нас от тюрьмы отвел». Отец скользнул по нему взглядом и молча ушел в дом.

Меня пробрал страх: я еще никогда не видел его таким. Он был спокоен, но мужчины расступились и попятились, когда он направился мимо них к крыльцу. От него веяло чужестыю, холодом, ужасом, обреченностью и еще чем-то – чем-то, что страшнее ужаса, это было тяжелое, болезненное, новое чувство – чувство оставленности, но тогда в моем словаре не было ни слова «оставленность», ни слова «одиночество».

Моя мать не боялась ни Калитина, ни собак, ни цыган, ни паровоза, ни мужа – она боялась только ивовых зарослей на берегу Лавы. Они тянулись до фабрики, до того места, которое все называли Говнянкой: там, на высоком берегу, уступами располагались отстойники, где выдерживался каолин, белая глина, прежде чем попасть в бумагоделательную машину. Из отстойников в реку постоянно стекала белая жидкость, и там хорошо клевала рыба. Весной и осенью ивняки затапливало полой водой, а летом в них справляли нужду дети и выпивали взрослые.

Однажды на крошечной полянке у ручья, протекавшего через ивовые заросли, мы наткнулись на мою няньку Нилу. Она лежала на боку среди окурков, экскрементов и битых бутылок, голая, грязная, на бедре у нее сидел лягушонок, который при нашем приближении скакнул в траву.

Нила была крепкой деревенской девчонкой, толстоногой, грудастой и довольно глупой, но не злой. Когда я упал с дерева и ободрал коленку, она схватила меня в охапку и стала языком зализывать рану.

– Йод же есть, – сказала мать. – Или зеленка.

– Человеческий яд полезнее, – возразила Нила.

Если я просился в кино, она звонила моей матери и спрашивала, какую монетку мне дать – большую желтую или маленькую белую. До шестнадцати лет она не умела ни писать,

ни читать, а считала на пальцах. Старшие мальчишки – братья Костылевы – загоняли ее за сараи и лапали, а она была их коленом по яйцам.

А вот перед веселым выпивохой Калитиным девчонка устоять не могла.

Благодаря Ниле я попал в святая святых – за забор водопроводной станции – и впервые попробовал божественного калитинского сала. Калитин ставил передо мной чернильный прибор с ручкой-вставочкой, клал на стол пачку бумаги и кусок копченого сала с хлебом, разрешал крутить ручки настройки радиоприемника «Телефункен», а сам уводил Нилу посмотреть на улы, которые недавно поставил вдоль ограды со стороны болота.

В окно мне было видно, как Нила ложилась на деревянную кушетку, стоявшую между голубыми елями, и закрывала лицо платком, а Калитин склонялся над нею, залезал рукой под платье, и Нила не была его коленом по яйцам, а жевала платок, мотала головой и подпрыгивала, вскидывая свои толстые ножки и сотрясая кушетку.

Потом Калитин давал нам кусок сала и баночку меда, и запыхавшаяся, потная, красная Нила вела меня домой, жалким голоском упрашивая ничего не говорить «дяде Васе» и «тете Зое», то есть моим родителям.

Ну, конечно, я обещал молчать: ради калитинского сала я готов был на все.

Вдобавок Нила совала мне десять копеек на кино – из тех беленьких, что дарил ей при каждой встрече Калитин: «Заработала».

Вернувшись домой, я позвонил на фабричный коммутатор, попросил телефонистку соединить меня с Зоей Михайловной и рассказал о Ниле.

– Боже! – закричала мать. – Ты ходил на речку! Ну Нила!..

Вдруг осеклась, сообразив, что Ниле уже ничего не грозит.

Через полчаса на берегу собралась огромная толпа. Сюда сбежались жители окрестных домов, люди с бумажной фабрики и маргаринового завода, из Красной столовой, с лесопилки и железнодорожной станции, приехали милиционеры в черной форме, грузовик с солдатами из комендатуры. Солдаты оттеснили толпу и оцепили ивовые заросли.

– Колесов! – закричал кто-то. – Это урод Колесов! Он опять сбежал! Урод сбежал!

Урод был старшим братом дяди Вити Колесова. Это был рослый улыбчивый мужчина, которого в драке наших с цыганами так хватили пряжкой ремня по голове, что он навсегда забыл свое имя. Брат держал его под замком в сарае. Урод при помощи ногтя проделал в двери дырочку, в которую высовывал член и мочился на прохожих. Несколько раз он сбегал, носился по городку голышом, приставал к детям и женщинам, но сдавать его на мыло или сажать на цепь дядя Витя отказывался: «Брат все же».

Отец не раз прогонял Нилу от сарая – ее так и тянуло к уроду. Ей нравилось разговаривать с ним. Иногда они играли. Она просовывала указательный палец в дырочку, и урод принимался его сосать. А потом, чтоб все было по-честному, она сосала его палец, который был так велик, что еле умещался у нее во рту.

– У него этот палец без ногтя, – шепотом рассказывала мне Нила. – Он этот ноготь цыганам на пуговицы продал.

Нилу завернули в простыню и увезли на дежурной машине в морг.

А вскоре милиционеры схватили урода Колесова. Оказалось, что он действительно убежал, но потом вернулся в свой сарай, забился в угол и затаился. Когда милиционеры вытащили его во двор, урод вдруг завопил, заколотил ногами, стал вырываться, но мой отец накинул ему на голову мешок, и урод тотчас затих. Из сарая вынесли платье и сандалии Нилы. Женщины запричитали, заплакали.

Тело Нилы забрала тетка – она увезла ее в деревню, где и похоронила.

Через несколько дней был арестован Калитин. На следствии он признался в убийстве Нилы. Она была беременна, Калитин не хотел скандала – у него была жена и двое детей – и задушил девчонку. На суде он то и дело повторял: «У меня ж семья, понимаете? Семья...»

Выяснилось вдруг, что во время войны Калитин служил в немецкой карательной команде. Следствие затянулось. Привезли свидетелей из Белоруссии, которые опознали Калитина. Его приговорили к расстрелу.

В городе все знали о том, что Калитин давал своему сыну копейку всякий раз, когда тот находил в прическе отца седой волос и вырывал его: Калитин не хотел стареть. Во время оглашения приговора голова его стала сплошь белой – он поседел за час. Люди говорили: «Поседел сразу на сто рублей». Про его сторублевые седые волосы еще долго помнили.

Несчастливого урода Колесова отправили в специнтернат, и вскоре все забыли о нем.

Отца повысили – он стал заместителем директора фабрики, и нам дали квартиру на Семерке, в другом конце городка.

Кур и кроликов решили взять с собой, а вот поросенка пришлось заколоть. Это сделал старик Добробабин. Ему же досталась первая кружка свиной крови – выпил он ее жадно, звучно глотая, и кровь текла по его заросшему кадыкастому горлу. Пащая на сводила с него взгляда и сглатывала всякий раз, как глотал старик.

Во дворе расставили столы, мать и тетя Лида нажарили свежатины, разлили по стаканам водку, Леха Байкалов рванул гармонь, и Вероника Андреевна Жилинская с безногим своим мужем на два дивных голоса исполнили «Ой да не вечер», а потом пели все, и ели скудную еду, и пили водку, поднимая тосты за победу, дядя Витя Колесов учил меня крутить «козью ножку», Костылев-старший рассказывал в десятый, наверное, раз о своей драке с немцем, у которого он оторвал руку, а она оказалась протезом, Пащая прижималась бедром к кавалеру Добробабину, мимо с тяжким грохотом проходил паровоз, который тащил на фабрику вагоны с каолином, а потом подошел грузовик – в кузов поставили клетки с курами и кроликами, два стола, четыре стула, разобранные кровати, бросили мешки с одеждой, мать с малышкой посадили в кабину, отец расцеловался с соседями, помог мне забраться наверх, смуглянка Верочка забежала за дерево, повернулась спиной и задрала платье, чтобы напоследок подразнить меня голой своей попой, грузовик сдал, я плюхнулся на сложенное вдвое одеяло, Леха Байкалов рванул меха и пошел за машиной, играя «Прощание славянки», – так мы отбыли на Семерку, в другой мир.

Кавалер Добробабин вскоре женился на Пащей, у них родился мальчик, а через пять лет старик умер. Старшая дочь Пащей по окончании школы поступила в милицейское училище. С ее младшей сестрой я иногда сталкивался в школе, но старался избегать ее: мне было ужасно стыдно вспоминать о том, как я лизал холмики и ямочки этой толстой уродины со свинными глазками. После школы она где-то училась, а потом стала надзирательницей в женской колонии. Сын Пащей от старика Добробабина стал офицером, пилотом стратегической авиации.

Витя Колесов спился и умер, а его красавица Крыся вышла замуж за вдового подполковника и уехала с ним в Среднюю Азию, где, говорят, стала генеральшей.

Судьба братьев Костылевых сложилась по-разному: старший погиб на Даманском, средний таскался из тюрьмы в тюрьму, а младший стал известным капитаном рыболовного траулера, Героем и гордостью семьи.

Мой молочный брат Женька, командир роты десантников, погиб в Афганистане, в Пандшерском ущелье.

Вероника Андреевна и ее безногий муж прожили долгую жизнь, умерли в один день и были похоронены рядом на новом кладбище, на самой вершине холма, а их дочери стали сельскими учительницами, женами сельских учителей.

Леха Байкалов умер от внезапной остановки сердца, и рыжая его кривоногая вдова Зинка больше никогда не выходила замуж, вернулась к старухе матери, чтобы выгуливать по ночам свою страшную дочь – Люболю...

А на первомайские и октябрьские демонстрации людей вскоре стали попросту загонять: старшее поколение повымерло, поспивалось, засело у телевизоров, а молодые толпами сбегали из праздничных колонн, так что к площади добиралась лишь жидкая кучка малых детей и стариков с флагами и портретами членов политбюро. Неизменными еще долго оставались только военные парады: «Побатарейна-а-а! На одного линейного! Арш!», оркестры, кирзовые сапоги, высекавшие искры из доисторической мостовой, и офицер в фуражке с лаковым козырьком, нечеловечески высоко вскидывавший свои великолепные саблеобразные ноги в блестящих сапогах...

## Глава 2. Семерка

Веселая Гертруда появилась внезапно. В кронах лип по всей улице вдруг вспыхнули фонари, и передо мной возникла старуха – высокая, костлявая, косматая, в ватнике с чужого плеча и босая. Она всегда ходила босиком, что летом, что зимой. Я не успел испугаться, как она провела рукой в воздухе над моей головой, словно хотела погладить, и исчезла. Я перевел дыхание.

Гертруда была немкой. Это не укладывалось в моей голове. В кино немцы были грубыми и жестокими. Они кричали «хайль Гитлер», громко хохотали и стреляли из шмайсеров. Все они были фашистами и солдатами, воплощением буйного зла. А Веселая Гертруда была тихой сумасшедшей. С утра до вечера она подметала нашу улицу, приплясывая и напевая: «Зайд умшлюнген, миллионен... зайд умшлюнген...»

Мать, немного владевшая немецким, объяснила, что Гертруда хочет, чтобы миллионы людей обнялись, но зачем миллионам обниматься – этого даже мать не знала. Взрослые жалели Гертруду: в конце войны она потеряла дочь и мужа.

А мы кричали из кустов: «Хенде хох!» и стреляли в старуху из деревянных автоматов. Она опускала метлу, оборачивалась и смотрела на нас огромными своими глазами. Лиловые губы ее шевелились и дрожали. Нам было весело.

Снова пошел дождь – мелкий, ледяной, черный.

Вернувшись домой, я подобрал в коридоре газеты и журналы, которые почтальонка просовывает в щель, прорезанную ниже стекол во входной двери и окаймленную медью, принес из подвала три ведра угля и растопил обе печки и плиту, занимавшую треть кухни. Этому научил меня отец: первым делом следовало освободить топку и поддувало от золы, вынести ее во двор, в бочку, потом открыть заслонки в дымовых трубах, разжечь огонь и выложить немного угля на пылающие щепки, дожидаться, когда он займется, после чего можно кидать уголь в топку совком – три, четыре, пять совков с верхом, закрыть дверцу, а минут через десять-пятнадцать открыть, пошурудить в топке кочергой, добавить угля, поставить мокрые ботинки к печке, вымыть руки с мылом и смазать вазелином, чтобы не было цыпок.

Часы на подоконнике показывали семь.

Отец на работе, мать в командировке, сестра в садике, дружок Вовка болен свинкой – к нему нельзя. В продленке накормили гречневой кашей с пряной свининой из железных банок – я был сыт, хотелось только пить. Из-под крана нельзя – у меня *плохие железы*, в графине рыжие хлопья на дне, а в кладовке ничего, кроме прокисшего молока.

Уроки я сделал, по радио «пилят симфонию», как выражается отец, остается одно – чтение. Отрывной календарь на 1962-й я уже знаю наизусть, сказки и любимый седьмой том детской энциклопедии – с рыцарями и парусниками – это на сладкое.

Рядом с этажеркой в комнате – пачки черных книг с красным корешком и золотым ромбом на обложке, в котором красуются пятиконечная звезда, буквы «БСЭ», колос и шестеренка. Эти разрозненные тома Большой советской энциклопедии под редакцией Шмидта отец принес со Свалки. Несколько дней книги лежали подальше от печки, источая запах наволгшей бумаги. Листать тома нужно было осторожно, чтобы ненароком не порвать страницы. Цветные иллюстрации защищены папиросной бумагой, тьма-тьмущая рисунков – самолеты, гидроэлектростанции, паровозы, схемы и портреты, очень много рисованных портретов.

Я беру из стопки книгу наугад и возвращаюсь в кухню, где от плиты уже веет теплом.

Двенадцатый том: «Воден – Волховстрой». В списке редколлегии фамилии Бухарина, Покровского и Осинского тщательно замазаны чернилами, в списке редакторов отделов и

подотделов точно так же зачеркнута фамилия Тухачевского. Всюду овалы штампы: «Библиотека п/я №4109», «МВИУ, парткабинет», «Учебная библиотека МКВИУ». Коричневая наклейка сообщает: «Редакция Большой Советской Энциклопедии уведомляет подписчиков, что вследствие незаконченности работы по статье ВКП (б), идущей в XI томе, следующий за ним XII т. выпущен в необычном порядке последовательности; XI т. выйдет в свет в феврале 1929#г.». На следующей странице сообщается о смерти Ивана Ивановича Скворцова-Степанова, одного из основателей БСЭ, члена Президиума Редакции, и Зиновия Петровича Соловьева, редактора Отдела Медицины. Что такое «п/я», «Президиум» или «ВКП (б)» – я не знаю, но читаю все подряд: водоснабжение, военная промышленность, Волга, волосатики, Волошин...

Хлопнула дверь – пришел отец.

Он проверяет печки, подбрасывает угля в плиту, ставит на конфорку сковороду с картошкой, включает радио. Мы ужинаем котлетами из фабричной столовой, которые отец принес в бумажке. Я ем не торопясь, чтобы растянуть удовольствие. Мать не понимает, почему ее котлетам – пухлым, жирным, ароматным – я предпочитаю тощие фабричные.

Из гостиной – это большая пустая комната с радиолой в углу – доносится телефонный звонок. Отец уходит.

Доедаю котлету, слушаю радио: Хрущев, Кеннеди, Фидель Кастро, Лаос... трам-тарарам... концерт по заявкам радиослушателей начинается с «Коммунистических бригад»...

– Я на гидропульперный, – говорит отец, вернувшись от телефона. – Если наденешь сапоги, возьму с собой.

Не верю своим ушам.

Гидропульперный участок бумажной фабрики – в городке все называли его Свалкой – находился в списке «нельзя». Мне туда нельзя. Мне нельзя на реку – там дамба, плотина и черный шлюз, нельзя приближаться к железной дороге, которая тянется параллельно Семерке метрах в двухстах от нашего дома, нельзя заглядывать в колодец, нельзя открывать дверь цыганам и солдатам, нельзя бегать по улице босиком, потому что повсюду – обломки кирпичей и черепицы, осколки стекла, ржавые гвозди, нельзя подбирать окурки, нельзя направлять на людей игрушечное оружие, нельзя жевать пековую смолу, которая лежит горами у толевого завода, нельзя собирать яблоки на кладбище, нельзя выходить из дома в грязной обуви...

Я вытаскиваю из кладовки сморщенные и пыльные кирзовые сапоги, размазываю крем тряпкой, потом надраиваю щеткой. Отец проверяет, почистил ли я сапоги сзади, выключает радио, надевает кожаное пальто до пят, кепку, резиновые сапоги, и через несколько минут мы выходим из дома. От моих сапог на версту разит скипидаром.

Поздний вечер. Черный дождь. Улица пустынна.

Когда мы минуем детский сад, отец берет меня за руку: он знает, что я боюсь морга, притаившегося в глубине невысокого холма за больничной оградой. Минут через пять мы сворачиваем налево, к железнодорожному переезду. Слева остается хлебный магазин, справа – развалины тюрьмы: провалы высоких окон, осыпи битого камня, фигура Фемиды, торчащая из стены над гранитными ступенями входа.

У переезда высится водонапорная башня из красного кирпича, ее коническая крыша с медным шипаком теряется в темноте. На знаке «Берегись поезда» хулиганы зачеркнули букву «о» во втором слове, но я знаю, что слово, которое должно было получиться, пишется через «и». Мы терпеливо ждем, пока женщина в шинели поднимет полосатый шлагбаум. Переезд – очень опасное место. Недавно здесь под колесами поезда погибла старуха, бросившаяся спасать своего теленка, и их внутренности так перемешались, что старуху похоронили с телячьим сердцем в груди. На Страшном суде она не сможет отвечать на вопросы – будет только мычать.

За переездом мы сворачиваем направо и идем вдоль ограды кладбища, за которой клубятся темные купы громадных деревьев. Оттуда тянет густым смолистым запахом туи. На переменах мы играем среди надгробий в догонялки, а в склепах с чугунными дверями уборщицы хранят ведра и метлы.

Через кладбище проложены несколько дорожек, однако ночью здесь не по себе даже взрослым. Школьный завхоз рассказывал, как однажды в полночь столкнулся на кладбище с девочкой в белом. Она вышла из-за огромного мраморного креста, произнесла медовым голосом: «Майн либе», и тут завхоз обоссался: «Под Сталинградом ни разу не обоссался, а тут – обоссался, самым честным образом – обоссался». Завхоз малоросл, кривоног, на левой руке у него не хватает двух пальцев, а рот полон железных зубов. Он живет в двухэтажном домике у кладбища, держит двенадцать свиней и тайком продает литовцам мраморные надгробья с немецких могил. Отец называет его мародером и никогда не здоровается за руку.

За домом завхоза открылась школа – единственная средняя школа в городке: строгое трехэтажное здание в форме буквы П, из красного кирпича, с черепичной крышей, правая ножка буквы П – одноэтажная, там спортзал. Слева от ворот на круглом белом постаменте, стоящем посреди цветочной клумбы, – три борющихся гипсовых мальчика, их изваял учитель рисования, работавший с Макаренко в харьковской колонии. Высоко над входом в школу – огромные часы.

После войны здесь был военный госпиталь, потом сельскохозяйственное училище, а теперь сюда по утрам бегут полторы тысячи учеников – мальчики в серых гимнастерках и девочки в черных фартуках. Зимой в классах стоит удушливый запах скипидара, которым смазывают сапоги, и «ахтиолки»: у многих мальчишек на шеях чирьи и повязки с ихтиоловой мазью. Каждый день врачи проверяют детей на педикулез, после чего многих мальчиков стригут наголо, а девочек заставляют мыть голову с дустом.

Мы прошли через школьный двор, мимо спортзала с зарешеченными окнами, мимо пахучих сараюшек с курами и свиньями, под огромными каштанами, спустились по улочке, вымощенной крупным булыжником, миновали высокие кирпичные ворота и повернули к Свалке.

Свалка располагалась на берегу узкого канала. Это был сильно вытянутый асфальтовый треугольник с дебаркадером и кирпичным сараем, в котором находилась мельница – ее горловина на метр возвышалась над полом. Макулатура в мельнице превращалась в густую кашу, которая по фанерным трубам поступала на картоноделательную машину, а картон потом отправляли на толевый завод, где его пропитывали пековой смолой.

Днем и ночью со всего северо-запада Союза на Свалку приходили железнодорожные составы с макулатурой, днем и ночью женщины в ватниках и резиновых сапогах бросали вилами в горловину ревушей мельницы книги, газеты, журналы.

Вскоре после того как Советский Союз поссорился с Китаем, сюда, на Свалку, потянулись вагоны с трудами Мао Цзэдуна, изъятыми из всех мгазинов и библиотек. Тогда на нашей этажерке появился сборник стихов Мао – тоненькая книжечка в бумажной обложке.

Многие жители городка приходили на Свалку за книгами. Сюда и раньше везли библиотеки из расформированных дивизий и военных училищ, а после января 1960 года, когда Хрущев принял решение о сокращении армии на треть, эшелоны с книгами пошли потоком. Люди тащили домой Тургенева и Пушкина, Бабаевского и Семушкина, энциклопедии и словари...

Гонять воришек было некому: Свалку охраняли пожилые женщины да наш бывший сосед – безногий Илья, муж Вероники Андреевны Жилинской, разъезжавший по дебаркадеру на тележке с подшипниками вместо колес.

Поздоровавшись с Ильей, отец толкнул дверь в дежурку.

За дощатым столом, над которым во всю стену распласталась карта железных дорог СССР, грузчики играли в домино. Среди них по всем статьям выделялся Иван Ковалайнен, бригадир, огромный мужчина с железными зубами и шрамом во всю щеку. Он курил самокрутку чудовищной величины. Отец перекинулся с Ковалайненом несколькими словами и сел за стол. А я устроился в кресле, которое стояло в дальнем углу дежурки, и закрыл глаза.

Наша улица носила имя генерала Черняховского, но все называли ее Семеркой. Говорили, что в первые дни после войны улицы в городке были пронумерованы – в ожидании постоянных названий, новых, русских. Наша улица тогда значилась на городской карте под номером семь.

Мне нравилась Семерка.

Улица, на которой мы жили раньше, возле водокачки, была тупиковой, железная дорога – короткой веткой от станции до фабрики, мы играли между сараями, из которых доносились собачий лай и хрюканье свиней. Я возвращался в двухкомнатную квартиру, где теснилась наша семья с нянькой. А осенью в кухне на мешках жил старик, который валял нам всем валенки, и в доме воняло шерстью.

Теперь мы занимали просторную квартиру в первом этаже немецкого особняка, с ванной и туалетом, у нас были свой двор и сад, а на чердаке, где пахло сосной и яблоками, стояла цистерна, в которую при помощи электрического насоса набирали воду из садовых колодцев, чтобы потом она текла из наших кранов.

Семерка, вымощенная булыжником и красным кирпичом, выводила в поля, а железная дорога начиналась на берегу Балтийского моря и тянулась до Москвы и дальше, дальше – аж до Тихого океана.

Мы уже съездили всей семьей на море, в Светлогорск, и я видел настоящий горизонт – место, где кончается свет. Там угасал яркий свет советской жизни и начинался мрак жизни чужой, враждебной. Мы жили на краю света.

Правда, и тут, на Семерке, донимал телефон. Он висел на стене за дверью моей комнаты. И каждый вечер, когда я укладывался спать, отец снимал трубку и начинал разговор с неведомым «диспетчером». «Диспетчер! – кричал он. – Целлюлозы на фабрике осталось на сутки! Через сутки фабрика остановится! Диспетчер! А что с макулатурой? С макулатурой – что? Не надо больше сажевой! Сажевой – не надо! Диспетчер, алё!..»

Вскоре, однако, разговор заканчивался, по стенам комнаты пробежал свет – это мимо дома проходил последний пассажирский на Москву, стук колес стихал, и я засыпал.

После школы мы с ребятами провожали поезда, увозившие новобранцев на восток. Этот загадочный восток начинался где-то там, за парком, где среди деревьев терялся красный огонек последнего вагона. Новобранцы стояли в широких дверях товарных вагонов, свистели, кричали и кидали нам шапки, перчатки, перочинные ножички, шарфы – на память. Мы набрасывались на добычу, и однажды мне досталась шапка. Обыкновенная дешевая кроличья шапка. Мать пришла в ужас, когда я принес добычу домой, и долго кричала про вшей и туберкулез, которые населяют чужие шапки. В конце концов она ее выбросила. Я был огорчен: почти все мои дружки щеголяли в «солдатских» шапках, а мне приходилось довольствоваться «кромкой».

Кромкой назывались обрезки сукна. При помощи сукна, натянутого на стальные валы бумагоделательной машины, просушивалась бумага. Отработанное сукно резали на куски и продавали за копейки рабочим и служащим фабрики на вес. Это пропитанное каолином сукно вымачивали, отмывали и распускали на нитки. Половина города ходила в шапках, шарфах, свитерах и рукавицах, связанных из кромки. «Не всякий английский лорд может позволить себе такую дорогую шерсть», – говорили в городке. Мне было жаль английских лордов, которые носили такие колкие свитера, словно сделаны они были из битого стекла.

В конце Семерки стоял клуб бумажной фабрики – двухэтажное здание с кинозалом, буфетом, библиотекой, бильярдной и летней верандой для танцев.

Кино в клубе показывали четыре раза в неделю. Афиши вывешивали возле магазинов, и на них обязательно писали «цветной», «ш/э» (широкоэкранный), а еще «Франция», «Индия» или «к/с им. Довженко».

Помню, как поголовно рыдали взрослые на «Судьбе человека», как все мальчишки после «Человека-амфибии» стали «Ахтиандрами» и как все-все-все осаждали кассу, если обещали индийский фильм – «Господин 420», «Четыре дороги», что угодно с народным героем Раджем Капуром, «товарищем Бродягой» и «голубоглазым королем Востока».

А за клубом начинался старинный тенистый парк с зигзагообразными линиями траншей – здесь немцы пытались остановить наступление советских войск на Велау, а теперь мы ползали по зараставшим траншеям, играя в войнушку.

От клуба вдоль Преголи тянулась высокая дамба – к шлюзу и дому шлюзника Смолокурова, в семье которого рождались только дураки и дурочки. Старшие дураки Алик и Вита ходили по дворам – за небольшую плату кололи дрова, вскапывали огороды. Наша учительница называла их словом, которое было невозможно выговорить с первого раза: *гориллоиды*. Мы дразнили Виту, он вспыхивал, бросался в погоню, догонял, плевался, и больше всего мы боялись, что его плевком попадет в глаза, оставив нас слепыми на всю жизнь. Сестры Алика и Виты без присмотра бегали в мужских майках на голое тело и то и дело беременели. Детей, которых они рожали, как говорил сосед дед Семенов, сдавали на мыло.

Между дамбой и нашим садом лежала низина, изрезанная мелиоративными канавами. Здесь, в низине, на насыпи был устроен стадион – с оградой, домиком под черепичной крышей, где передевались футболисты, скамейками для зрителей и даже с высокими дощатыми воротцами, на которых вывешивались фанерные цифры – счет матча.

Утром в воскресенье сюда под звуки духового оркестра – его называли паровым, потому что в нем были только трубы и барабан, – стекались сотни людей, на поле выбегали наши, фабричные, и враги – клайпедские бугаи или команда воинской части, составленная сплошь из «кацо» – многие их называли по старой привычке «нацменами». Мы лежали за воротами, бегали за мячом, закатившимся в колючки, и орали: «Судью на мыло!»

В перерыве мужики раскидывали газетки на траве за скамейками, выпивали и закусывали, а после матча застолье устраивалось в домике под черепичной крышей, где игроки принимали от директора фабрики поздравления с выигрышем и пили из кубка круговую или пили с горя, а потом били тренера и судью.

Были у меня, конечно, и докучные обязанности. С утра надо было прополоть грядки, нарвать травы для кроликов – целый мешок травы, желательно клевера.

Но самыми мучительными были походы за белым хлебом. Мне казалось, что весь мир помешался на этом белом хлебе. Я брал сестру за руку, и мы отправлялись в хлебный, где толпа распаренных и разъяренных женщин зло и зорко следила за тем, чтобы никому не досталось «больше двух в одни руки». Они кричали и толкались, и однажды – мы уже вырвались на крыльцо – кому-то показалось, что нам досталось хлеба больше, чем остальным. Нас столкнули с высокого крыльца. Сестра полетела вниз головой – ее едва успел подхватить дурак Вита Смолокуров, проходивший мимо. Я не знал, что делать. Поблагодарить дурака? А вдруг плюнет в глаз? Но Вита поставил девочку на ноги, пробормотал что-то и ушел не оглядываясь.

Из-за этого белого хлеба, из-за коммунизма, кукурузы и неоплаченных облигаций все проклинали Хрущева. Когда я спросил соседа Семенова, правда ли, что я буду жить при коммунизме, он сказал, что первым в коммунизм попадет Хрущев – вперед ногами. В городке с гордостью говорили, что «именно мы бросили камень в окно поезда», когда Хрущев ехал в Калининград, чтобы сесть на корабль и отправиться в какую-то заграничную поездку.

Родители дома про это не говорили. Думаю, для них, выросших и с трудом выживших при Сталине, сама мысль о том, что можно вот так, открыто, вслух ругать руководителя государства, была кощунственной. Да и опасной: после XX съезда людей по-прежнему сажали «по пятьдесят восьмой» за антисталинские и антихрущевские высказывания. Бухгалтера Одинокова, которого все называли Белой Молью, – летом он ходил в белых матерчатых туфлях, в белом полотняном костюме с белыми пуговицами, в белой шляпе, с белым зонтом, и брови у него были белыми, – арестовали в 1958 году за то, что он «сознательно разбил молотком» бюст Сталина, стоявший на сцене в фабричном клубе.

Но над коммунизмом посмеивались даже мои родители.

Иногда я один уходил в конец Семерки, за парк, ложился в траву на склоне, с которого открывался головокружительный вид на пойму Преголи, на Таплаккенские холмы и дальние леса. Солнце высвечивало в ранней летней зелени цыплячье золото, пахло мятой, зверобоем и сладкой цветущей липой, птичьи голоса то усиливались, то стихали вовсе, высоко в небе кружила пара аистов, где-то далеко мычала корова – протяжно и лениво, в мелкой листве воробьиного винограда, оплетавшего поваленную осину, слитно гудели насекомые, был июнь, смерти не было...

Я очнулся от паровозного гудка и тяжелого железного лязга.

Отец надел кепку, грузчики зашевелились.

К дебаркадеру подали состав с макулатурой – четыре вагона.

Паровоз отцепился и пошел задом, скрылся в темноте.

Дебаркадер был ярко освещен огромными прожекторами, установленными на вышках по углам разгрузочной площадки. Сеял мелкий дождь.

Бригадир Ковалайнен вразвалочку подошел к вагону, погромел запором, с шумом откатил дверь, осветил фонариком.

К Ковалайнену подошли грузчики, мы с отцом, подкатил на своей тележке Илья.

Я заглянул в вагон. Передо мною была стена из книг, на корешках которых золотом было вытеснено одно и то же имя – «И. В. Сталин». Не знаю, была ли то биография Сталина, выпущенная каким-то невероятным тиражом (кажется, 14 миллионов экземпляров), или собрание его сочинений. Помню только золотые буквы на корешках – «И. В. Сталин» – от пола до потолка, во весь дверной проем.

Шестьдесят тонн Сталина в каждом вагоне, двести сорок тонн – в этих четырех, что стояли у дебаркадера. И на станции дожидались своей очереди еще пятьдесят вагонов. И на подходе к станции – сотни вагонов. На пути к Смоленску, Минску, Вильнюсу, Черняховску. Тысячи вагонов, сотни паровозов. Они шли из Москвы, Ленинграда, Пскова, Новгорода, Таллина, Риги, Клайпеды, Каунаса. Тысячи тонн Сталина. Тысячи кубометров.

На дебаркадере было так тихо, что мне стало не по себе.

Я обернулся.

Когда глаза привыкли к свету прожекторов, я разглядел лица всех этих мужчин – моего отца, Ковалайнена, дяди Вани Олимовского, отца моих школьных дружков, дяди Васи Горелова, трижды горевшего в танке, Сергея Сергеича, безногого Ильи, истуканом сидевшего на своей тележке, Казика, который называл себя «карагандинским литовцем», молодого Юрани, Коли Полуторки... На их лицах не было ни удивления, ни печали, ни радости, но это были не тупые, не равнодушные лица, и по ним было видно: что-то происходит, что-то важное, до чего я пока не дорос... и еще я понял с какой-то внезапной и горькой отчетливостью, что совершенно не знаю и не понимаю этих мужчин, даже своего отца... эти минуты на дебаркадере были для них той частью их жизни, которая была их чудом и их тайной, мне недоступными...

Отец быстрым шагом направился к дежурке.

Грузчики закурили. Все молчали.

Через пять минут отец вернулся. В руках у него была хозяйственная сумка.

– Начинайте, – сухо приказал он. – Коля... – К нему подошел Коля Полуторка, шофер. – Сгоняй в дежурку, возьми на все. – Отец протянул шоферу деньги. – Скажи Зине: я приказал.

Зиной звали продавщицу дежурного магазина.

Отец распахнул сумку, в которой лежали несколько бутылок водки. Грузчики пили из горла, сплевывали и брались за работу. Вообще-то так было принято: рабочие соглашались на ночные разгрузки – а они не останавливались и зимой – только под выпивку.

Минут через двадцать вернулся Полуторка, привез еще водки.

Работа уже шла полным ходом. Грузчики ломиками вываливали из вагонов связанные веревками пачки книг и на двухколесных тележках бегом отвозили в цех. Там книги подхватывали вилами женщины, которые швыряли пачки в жерло ревущей мельницы, где книги превращались в кашу, в пульпу – ее по трубам подавали на картоноделательную машину. Картон в рулонах поступал на толевый завод, где пропитывался пековой смолой и превращался в толь-кожу. Она использовалась как кровельный материал, а еще ею обматывали трубы газонефтепроводов.

Люди работали молча, с остервенением. Иногда кто-нибудь подходил к Полуторке, выпивал водки, наскоро выкуривал папироску – и снова за работу. Бригадиру Ковалайнену никого не приходилось подгонять – все работали как одержимые.

Сталина вываливали из вагонов, бегом отвозили в цех, бросали в ревущие мельницы, и снова, и снова, вагон за вагоном, молча, быстро, зло.

Когда зачистили четвертый вагон, отец взял меня за руку и мы пошли домой.

Сталин уходил из жизни как-то незаметно. Не помню, чтобы взрослые в городке много судачили о той ночи, когда с площади убрали большую статую Сталина, заменив ее маленьким бюстиком генералиссимуса Суворова. Отовсюду исчезли портреты Сталина. На первой моей школьной октябрьской демонстрации старшеклассники несли портрет нового героя – Гагарина. В разговорах взрослых имя Сталина всплывало очень редко.

Помню, как отец принес из фабричной библиотеки номер «Нового мира» с мемуарами генерала Александра Горбатова – об этих мемуарах тогда в городке говорили больше, чем об «Одном дне Ивана Денисовича». Как выразился сосед дед Семенов, «одно дело – заслуженного генерала железной палкой по пяткам, другое – какой-то черт знает кто баланде радуется». Но отчетливо помню, что первая встреча с Солженицыным – а это был «Один день» – не произвела на меня сильного впечатления. Когда я его читал, мне все-все казалось знакомым – не в деталях, конечно, а сама атмосфера, воздух. Обмолвки родителей, их друзей, какие-то намеки в каких-то книгах и фильмах (в «Живых и мертвых», «Чистом небе»), иногда – внезапное молчание отца, когда речь заходила о послевоенных годах... У Солженицына именно это – быт, повседневность, обыденность, самая пошлая заурядность жизни, пропитанная Сталиным, и есть самое сильное, самое страшное, а не статистика смертей и даже не ужасы ГУЛАГа.

Вскоре после той ночи на дебаркадере мы с отцом оказались на окраине городка, в громадном ангаре. Свет в ангар попадал через узкие горизонтальные окошки, забранные сеткой, падал на чисто выметенный пол серыми пятнышками и угасал в углах. Посреди огромного пустого помещения на стуле сидел мужчина – я не сразу узнал Колю Полуторку. Он сидел неподвижно, поставив правую ногу на ящик, и курил. Стену перед ним занимал огромный портрет Сталина. Судя по окуркам на полу, сидел Коля тут давно.

Отец поздоровался.

– Знаешь, Василий Иванович, – после паузы проговорил Коля (который ко всем обращался на «ты»), – в нашей стране никому нельзя ставить памятники из бронзы – только из пластилина.

Коля Полуторка был легендарным человеком. Он был последним, кого похоронили на немецком кладбище, и на могиле его установили рулевую колонку с эбонитовым колесом – это все, что осталось от автомобиля ГАЗ-АА, Колиной полуторки.

После войны у нас по лесам было разбросано много всякой техники, брошенной немцами при отступлении. Директор бумажной фабрики ездил на роскошном серебристом «хорьхе», а милиционеры – на мотоциклах «BMW». В леспромхозе исправно служили автомобили с газогенераторными двигателями, а на полях трудились тракторы «Ланд-бульдог».

Но в начале шестидесятых директор фабрики пересел на «Победу», милиционеры – на «Уралы», а в леспромхозе появились «Татры».

Из автостарья в городке осталась одна полуторка. На ней развозили по домам упившихся мужиков и дрова для рабочих бумфабрики, доставляли продукты в детский сад и грузчиков к ночным эшелонам.

Именно на этой полуторке мой отец забрал из роддома жену с первенцем – так я впервые в жизни прокатился на автомобиле.

Не будь Коли, полуторка давно отправилась бы в утиль. Он изо дня в день пробуждал машину к жизни. Часами лежал под грузовиком, копался в двигателе, что-то подтягивал, подкручивал и красил, помогая себе при этом честным русским словом.

– Из одних запятых, зараза, состоит, из одних знаков запинания, – ворчал он. – Вот я тебе когда-нибудь точку-то поставлю...

Вечно перепачканный в машинном масле, взъерошенный, с грозно торчащими рыжими усами, с самокруткой в зубах, в галифе и хромовых сапогах, он бился за жизнь полуторки с такой яростью, словно это была его собственная жизнь.

Коля Полуторка умел за две секунды свернуть «козью ножку», побриться без порезов, держа лезвие в щепоти, и виртуозно делал «вертушку»: откупорив четвертинку водки, взбалтывал содержимое и запрокидывал голову, позволяя раскрученной водке самой – по спирали – проникнуть в его организм и не делая при этом ни одного глотка. В те годы не такой уж редкостью были случаи, когда шофер и инспектор ОРУДа заказывали в придорожном буфете по сто «с прицепом» (с кружкой пива), выпивали за здоровье друг друга и мирно разъезжались.

Его жена умерла от мистической болезни – от рака, так и оставшись бездетной. Тяпнув рюмку и пригладив волосы, Коля что ни день выходил на охоту. Огромный, громогласный и голубоглазый, он пользовался успехом у гладких вдов, шальных баб да и вообще не давал спуска зазевавшимся женщинам. Его много раз пытались побить, но Коля в драке был лют и стоек – никому так и не удалось отвадить его от чужого женского добра.

Однажды цыгане-поножовщики решили проучить Семерку за строптивость. Коля вышел в одиночку им навстречу, рванул рубаху на груди и заорал: «Сперва моего мяса попробуйте!» И цыгане отступили.

Наконец пришло время, и полуторку отправили в отставку, позволив, впрочем, послужить катафалком, пока сама концы не отдаст.

В день похорон задний борт откидывали, ставили в кузов гроб с покойником, за машиной выстраивались родственники, за ними – оркестр во главе с вечно пьяным Чекушкой, а следом вытягивалась процессия – привыкающие к смерти старушки в плюшевых жакетах, соседи, мятежная баба Буяниха в пальто со шкурой неведомого зверя на воротнике, беспричинные люди – пьяницы, которые надеялись напиться на поминках, дурак Вита Смолокуров и дурочка Общая Лиза, бродячие собаки да какая-нибудь шалая коза с пучком травы в зубах...

Иногда двигатель полуторки глох, и машину приходилось толкать. Родственники, соседи и сумасшедшие дружно налегали, Коля матерился, оркестр играл что-нибудь бодрящее, бродячие псы лаяли, коза отчаянно блеяла, наконец мотор начинал стрелять и рычать, и шествие возобновлялось.

За несколько лет Коля отвез на кладбище чуть не всех своих дружков-фронтовиков.

О войне Коля, как и его друзья, не любил вспоминать. Когда его как-то спросили, что такое храбрость, он ответил: «Это когда срать больше нечем. Обосраться от страха можно только раз». Но после того как в фабричном клубе показали фильм «Бессмертный гарнизон» о защитниках Брестской крепости, Коля Полуторка напился и рассказал, что служил в составе 132-го отдельного конвойного батальона НКВД, который охранял тюрьмы в Бресте и окрестностях и обеспечивал депортацию «классово чуждых элементов», а утром 22 июня 1941 года первым вступил в бой с немцами и держался до последнего. На стене казармы этого батальона и была сделана знаменитая надпись: «Я умираю, но не сдаюсь». Коля выжил и даже не попал в плен. Служил в 10-й дивизии внутренних войск НКВД, известной тем, что она приняла на себя первый удар немцев под Сталинградом и сдерживала противника до подхода 62-й армии, потеряв три четверти состава, а потом обороняла Тракторный и высоту 102 – Мамаев курган.

Коля Полуторка умер, недотянув до пятидесяти: сердце.

Его хоронили при большом стечении народа, было много зареванных гладких вдов и шальных баб, впереди процессии несли подушечку с медалями «За отвагу» и «За победу над Германией» – никаких других наград у него не было.

– Ничего, шофер и на том свете не пропадет, – сказала Буяниха. – Будет там начальство возить – на поллитру всегда заработает.

Полуторку разобрали, и на Колиной могиле поставили памятник – руль от ГАЗ-АА.

Помню, как-то я его спросил насчет надписи на стене в брестской казарме 132-го батальона, была ли она на самом деле, и он вытаращился и заорал:

– Надпись была, а запятой не было! Понял? Умираю но не сдаюсь – на хера там запятая? «Умираю но не сдаюсь» пишется без запятой! Понял? Без запятой на хер!

Летом мы поехали на Украину.

Это был мой первый опыт путешествия по железной дороге.

Паровозы, тепловозы, тяги, подъемы, стрелки, семафоры, руководящие уклоны, пульманы, фитинги, хопперы, цистерны, думпкары, полувагоны – отец произносил эти слова с каким-то особенным чувством. Он досконально знал организацию станционного хозяйства и наизусть – устав железных дорог СССР. Оно понятно: на фабрику каждый день приходили вагоны с целлюлозой, каолином, макулатурой, силикатным клеем, пековой смолой, песком, углем, мазутом, и почти каждый день с фабрики уходили вагоны с бумагой и толь-кожей, и за все это отвечал отец. Он любил железные дороги – для него они, похоже, были не только скрепой, но и воплощением порядка, самой России, а карта железных дорог – планом мироздания.

Иногда отец отдавал честь поездам – рослый, широкоплечий, прямой, с суровым лицом, он лихо вскидывал ладонь к козырьку полотняной фуражки и на несколько мгновений замирал на насыпи по стойке «смирно», и паровозы отвечали ему гудками, проносясь мимо с грохотом – к цели, назначенной высшими силами.

Но пассажиром на железных дорогах он бывал редко. В дальние командировки он обычно ездил на трехосном «ЗИЛе» с шофером Гришей Михеевым. Спали по очереди, перекусывали бутербродами – хлебом с салом, прихваченными из дома. А тут – отдельное купе, салфетка на столике, занавески на окнах, проводник в форменном мундире, предлагающий чай и шахматы... Я видел, что отец радуется не меньше моего.

До Харькова мы доехали с комфортом, а потом начался ад.

До Донецка нам пришлось ехать в общем вагоне – других билетов не было.

Стояла жара, в открытые окна влетали клочья сажи из паровозной трубы, пятнавшие лица людей, по мешкам и чемоданам, которыми был завален проход, ползли инвалиды-колясочники с гармошками, все лузгали семечки и ели вареные яйца, отовсюду звучала песня: «Ой ты, рожь, золотая рожь», мы с отцом стояли в тамбуре, и я все время боялся выпасть из двери.

Из Донецка до Доброполя мы добирались на такси. Дорога шла по плоской пыльной степи, мимо терриконов, и на крышу «Победы» время от времени падали куски породы, сыпавшиеся из тележек, которые плыли по канатам высоко в небе.

От Доброполя до бабушкиной деревни мы пошли пешком. Вскоре нас догнал милиционер на мотоцикле с коляской. На заднем сиденье сидел человек с окровавленным лицом, он был привязан веревкой к милиционеру. Мать с моей сестрой сели в коляску, а мы с отцом продолжали путь пешком. Я снял сандалии и носки и топал по дороге, по щиколотку утопая в пыли. Отец нес два тяжелых чемодана.

Было очень жарко, хотелось пить. У отца была бутылка, наполненная водой в Доброполе, но он не позволял мне пить: «Прополощи рот и выплюнь».

К вечеру мы добрались до деревни – кирпичные домики, окруженные иссохшими деревьями и кукурузными полями, с которых доносился жестяной шелест.

Я подошел к дереву, тряхнул – на землю упали несколько слив: косточки, обтянутые сморщенной кожей.

Бабушка Татьяна Кондратьевна оказалась маленькой, черноногой – она не носила обуви – и страшноглазой. Она перекрестила меня и сказала: «Весь в отца».

Отец рассказывал, что в конце 20-х, когда умер ее муж, прошедший Первую мировую и Гражданскую, весь израненный, бабушка сунула за щеку пять золотых монет, под юбку – обрез, посадила десятерых детей на повозки и отправилась из голодной Белоруссии на Украину, в Донбасс. Старшие дети пошли на шахту, младшие – в колхоз. В первую же зиму деревню завалило снегом до труб. Скот падал от ящура, люди – от голода. Милиционеры вывозили дохлых коров в степь, но закопать не могли: земля окаменела от мороза. Люди ждали, когда милиционеры уедут, разводили костры и тут же, в степи, варили похлебку из мяса ящурных коров. Некоторые после этого умирали. Во время войны шестерых детей Татьяны Кондратьевны немцы повесили: ее сыновья были партизанами.

Было уже темно, когда мы с отцом отправились за водой. Колодец был таким глубоким, что на дне его умещалось отражение только одной звезды, а пока ведро летело до воды, я успел сосчитать до пятнадцати.

Дом бабушки состоял из двух помещений – кухни с глиняным полом и чистой комнаты с деревянными полами, высокой кроватью, швейной машинкой «Зингер» с ажурной чугунной педалью, шкафом для белья, радиоприемником, из которого по-прежнему неслась «Золотая рожь», черной иконой в серебряном окладе и портретом моего деда Ивана – сурового усача с Георгиевскими крестами на груди, стриженного в скобку. Портрет был обрамлен вышитым рушником и украшен синими и красными бумажными цветами.

Мы с отцом легли спать на сеновале.

На следующий день после завтрака отец повел меня огородами вниз, в овраг, где находился колхозный кирпичный завод. Под навесом несколько мужчин в майках и валенках на толстой резиновой подошве длинными кочергами переворачивали кирпичи. Под каждым кирпичом была дырочка, в которой гудел огонь.

Мы поднялись на противоположный склон оврага, к каким-то развалинам, заросшим полынью и бодяком, сели в тени. Отец снял туфли, носки, пошевелил пальцами, лег на спину, закинув руки за голову.

– Здесь жили людоеды, – сказал он, глядя в небо. – Красивые людоеды.

Во время великого голода хозяйка дома, красавица вдова с четырнадцатилетней дочерью, вышла замуж за молодого парня. Четырнадцатилетняя Настя соблазнила отчима, и они вместе убили и съели хозяйку. А потом Настя убила и съела любовника. Когда Настю вывели из дома, милиционеры накинули ей на голову мешок. Она была самой красивой девушкой в округе, сказал отец, самой красивой, дерзкой и своенравной. Какие у нее были красивые глаза, сказал он, а руки... никогда в жизни таких больше не встречал...

– Зачем мешок? – шепотом спросил я.

– От страха, – сказал отец. – Милиционеры боялись смотреть ей в глаза.

Я лег рядом с ним, закинув руки за голову.

– На Соловьевской переправе, – сказал отец, – меня поставили к стенке. То есть, конечно, стенки не было – просто привязали к сосне. Я сбил из ручного пулемета «Юнкерс». Случайно вышло. Эти «Юнкерсы» нас достали... я просто озверел... взял пулемет и выпустил в пикирующий самолет весь диск – сорок семь патронов... стоял во весь рост в траншее и стрелял, пока патроны не кончились... и вдруг он упал... наверное, я попал в кабину, в пилота... и тогда вся эта стая «Юнкерсов» набросилась на нас... в общем, после налета меня на скорую руку приговорили к расстрелу за обнаружение расположения воинской части... отвели в лесок, привязали к сосне и набросили на голову мешок... мешок пах машинным маслом... мешок на голове, а я боюсь глаза закрыть... чую эти винтовочные дула, направленные на меня, и не могу закрыть глаза, хотя на голове этот мешок... и у меня говно поползло по ляжкам... жрать было нечего, по три галеты в день на человека выдавали, а говна вышло много... прет и прет, прет и щиплет... ляжки щипало, как крапивой... я в одних кальсонах, без сапог, с мешком на голове, и говно течет по ляжкам... – Отец помолчал. – Командовал нами Сусайков, корпусной комиссар Иван Захарович Сусайков. Генерал-лейтенант. Проезжал мимо, спросил, в чем дело, и отменил расстрел. Мне развязали руки, а снять мешок с головы – сил не было... вот когда я смерть увидел... когда ничего видеть уже не мог... не было в моей жизни ничего унижительнее, ничего постыднее, чем тот расстрел... ничего унижительнее, ничего постыднее...

Я молчал, глядя в небо. Почему-то истории про людоедов и про расстрел вызвали во мне приступ жгучего, почти невыносимого, почти библейского стыда, как будто отец ни с того ни с сего разделся передо мною донага.

– Пойдем-ка, – сказал отец. – Соседи обещали арбузом угостить – у них уродились.

## Глава 3. Триллиарды лиардов

Поездка на жаркую Украину не укрепила моего здоровья. Мы вернулись домой перед самым началом учебного года, и через две или три недели я снова оказался с ангиной в больнице. Вдобавок у меня разболелись уши и распухли суставы на руках. Мать тотчас отвела меня к педиатру Веронике Андреевне Жилинской, которая без разговоров выписала направление в больницу. Мать боялась, что у меня может развиваться менингит, от которого умер ее первый ребенок, или рак среднего уха, от которого умерла ее мать, моя саратовская бабушка.

Детского отделения в больнице не было. Меня положили в палату с мужчинами.

Больница – серое трехэтажное здание под черепичной крышей, с громадным прогулочным балконом на уровне первого этажа и чугунными скамейками у входа.

От нашего дома до больницы было не больше десяти минут ходу, поэтому каждый вечер мать приносила мне домашние котлеты, книги и школьные тетради, чтобы я не отставал от одноклассников.

Мне назначили уколы и физпроцедуры. Сначала надо было подняться на третий этаж и высидеть минут десять-пятнадцать в наушниках, источавших тепло, и с алюминиевой трубкой во рту, из которой мои железы обстреливались каким-то голубым целебным светом. Потом я спускался на первый этаж, и там мои руки заливали расплавленным парафином.

Но все эти процедуры, в общем, были не такими уж и продолжительными, и остальное время я читал, читал и читал, лишь изредка отрываясь от книг, чтобы послушать истории, которые от скуки рассказывали друг дружке мужчины.

Чтение мое было совершенно беспорядочным. В школе нас скопом записали в библиотеку и выдали книжки, которые показались мне неинтересными. Я выпросил у библиотекарши один из толстенных томов всемирной истории и целую неделю упивался историями о великих африканских империях Мономотапа и Мали, о голоногих воинах с копьями и дубинами, о китайских восстаниях и походах жестоких майя и инков. Разумеется, большей части прочитанного я просто не понимал – меня завораживал гул истории, а не ее смысл.

Долгое время я вообще не понимал, что взрослые подразумевают под литературой. Имена писателей ничего мне не говорили. Например, я с детства знал Набокова и Ахматову, но лет до шестнадцати-семнадцати и не подозревал о том, что есть такая поэтесса – Ахматова, а о существовании писателя Набокова узнал только в университете. Одноногий старик Набоков славился у нас в городке своим неуживчивым нравом, язвительностью и склонностью к рифмованию. Скажешь ему – экскаватор, а он со злобой рифмует – хуватор. Скажешь – здравствуйте, отвечает – хренаствуйте. Про таких людей в городке говорили: «Куда ни поцелуй, всюду жопа». Еще большей сволочью была его собака: всюду гадила, гавкала и кусалась, не щадя даже хозяина. Однажды она так покусала Набокова, что он ее убил. А потом закопал в огороде, каждый день приходил на то место, курил беломорину и рычал: «Ну что, хрень блохастая, долаялась?» Вытирал слезу, плевал на холмик и уходил. А Анна Ахатовна Ахматова всю жизнь торговала селедкой. Она была доброй женщиной, и когда однажды ее спросили шутники, как там сегодня у нее со стихами, – расплакалась.

Мать – она была юрисконсультком на бумажной фабрике – читала в основном издания вроде ведомостей Верховного Суда, а отец – энциклопедии, которые приносил со Свалки, и генеральские мемуары, пошедшие тогда косяком.

Мать приносила в больницу сказки – русские, украинские, белорусские, итальянские, а отец нес со Свалки то Жюль Верна, то Стивенсона, то Эдгара По, то «Плутонию» Обручева, а однажды принес отсыревший пухлый том «Декамерона» Боккаччо. Все это я проглатывал с упоением.

Я любил слова, особенно новые, непонятные. Как упоительно звучали все эти «аэрофотосъемка», «брандмауэр», «гидроэнергетика», «кардинальный», «токарно-револьверный», «палеогенез», «мастопатит», «краниология»...

Как-то утром мой сосед по палате не проснулся. Он неподвижно лежал на кровати, глядя в потолок стоячими глазами. Врач взял старика за руку, вздохнул и сказал: «Ригор мортис», и все медсестры и санитарки с облегчением завздохали, а потом заплакали, и какая-то старушка в белом платочке вдруг легла рядом со стариком – ее стали хватать за плечи, тянуть за ноги, а она все плакала и тоненьким девичьим голосом причитала: «Колинька... Колинька...»

Так я узнал выражение «rigor mortis» – трупное окоченение.

Герои Жюль Верна, Стивенсона, Эдгара По попадали в кораблекрушения, сражались с пиратами, искали и находили клады. Клады, клады, эти чертовы клады! В нашем городке было много разговоров о кладках, о сокровищах, закопанных немцами. Одни немцы бежали при приближении советской армии, не успев захватить с собой свое добро, а тех, что не успели бежать, выслали в Германию через два-три года после войны, разрешив взять с собой не больше пуда вещей на человека. Значит, все золото, серебро, бриллианты и прочие драгоценности – все осталось здесь. А в том, что у немцев было полно сокровищ, мало кто сомневался. Переселенцы по большей части были людьми деревенскими. В Восточной Пруссии их поразили каменные дома под черепичными крышами, мощеные дороги, газовые плиты, унитазаы, водопровод в деревнях, медные дверные ручки, напольные часы – у людей, которые *так* жили, не могло не быть сокровищ.

Мои соседи по больничной палате охотно рассказывали про «одного мужика», который, копаясь в огороде, наткнулся на клад – это были серебряные и золотые блюда, вилки-ложки, монеты, часы, жемчуга и бог весть что еще. А сколько еще не найдено, говорили мужики. Ведь немцы известны страстью к устройству подземных ходов, и где-то там, под землей, в этих самых ходах, наверняка спрятаны сокровища. Старик Смольников был в этом твердо уверен. С грустью в голосе он рассказывал о тысячах мин в бывшей Восточной Пруссии и секретном кабеле, проложенном до самого Берлина, где в любой миг могут нажать кнопку – и вся наша жизнь взлетит на воздух, и тогда немцы вернуться и заберут свои сокровища.

Старожилы вспоминали о репарационных складах, где за бутылку водки можно было разжиться велосипедом, фотоаппаратом, часами или четырехствольным охотничьим ружьем. Четырехствольным, подумать только. Два ствола под папковые патроны, а из двух других, нарезных, можно стрелять боевыми, причем из одного – очередями, как из пулемета. Немцы – хитрые мастера, известное дело.

Конечно же, мне тоже хотелось обнаружить клад.

Мать то и дело жаловалась на нехватку денег, каждый месяц ходила «к Дусе», в кассу взаимопомощи. Отцу прибавили зарплату, но часто штрафовали – его, главного инженера и директора фабрики – то за простой вагонов на станции, то за загрязнение реки. Клад разом решил бы наши проблемы. Мы с ребятами залезали в полуразрушенные подвалы, шарили по окрестным лесам, но находили только пробитые пулями ржавые каски, алюминиевые монетки, пряжки от солдатских ремней и прочую чепуху.

– Не там ищешь, – сказал как-то отец. – И не то ищешь.

Объяснять он ничего не стал.

Его слова заделали меня. Я понимал, что отец имел в виду какие-то другие сокровища, хотя он был вовсе не из тех людей, которые духовные блага ставят выше материальных. Лежа на больничной койке, я грезил о древних книгах, которые дороже любого золота, потому что с их помощью можно завладеть миром. О чем-то таком, что, возможно, вообще не поддается оценке, но дает власть над людьми и вещами. Или так преображает человека, делает его

таким совершенным, таким всемогущим, что ему уже никаких бриллиантов не нужно. Это что-то зримое, но неосязаемое, то, чем можно жить, но нельзя владеть... заветное слово... лиарды... Мне тогда почему-то с трудом давался переход в счете от миллиардов к триллионам. «Миллионы, миллиарды, – говорил я и рифмовал: – Триллиарды...» Отец поправлял: «Триллионы!» И вот все эти грезы о сокровищах и власти над миром странным образом сошлись, образовав в моем полубольном сознании сочетание «триллиарды лиардов». Лиарды были неосязаемы, непонятны, но чудесным образом рифмовались в моем мозгу с сокровищами и властью над людьми, с совершенством и всемогуществом. Я видел их, эти волшебные лиарды, о которых знал только я, – триллиард лиардов, два триллиарда, три, четыре... никто даже не догадывался о том, что это – сокровища, а я догадывался... это были какие-то *промежуточные, тайные* сокровища, доступные только мне... мечта, воздух, дым золотой...

Утром меня будили: «А сейчас мы уколем тебе алоэ».

«Алоэ» – тоже красивое слово.

После поездки на Украину (а потом в Саратов, на родину матери) я стал иначе смотреть на свою малую родину. Я понял, что устроена она иначе, не так, как Украина или коренная Россия. Узкие дороги, обсаженные деревьями, посаженные по линейке леса, маленькие поля, польдеры, каналы, шлюзы, булыжные мостовые, черепичные островерхие крыши, красный кирпич – здесь еще сохранилась матрица, напоминавшая о другой жизни, об ином порядке и культуре.

Я задавал вопросы взрослым – что было здесь? а тут? это зачем? кто это построил? – но чаще всего или не получал ответов, или ответы были невразумительными, приблизительными: «Кажется, тут была школа для девочек... эта насыпь – для узкоколейки, но рельсы давно сняли... эти кольца в стене – к ним привязывали лошадей... тут была электростанция...»

Дед Семенов вспоминал о том, что древний собор, стоявший на площади, был крыт бронзовой черепицей, и однажды смекалистые наши мужики при помощи тросов и танка содрали эту крышу с собора, «продали еврею и долго потом пили на вырученные деньги».

Развалины, развалины – они были всюду...

Рассказывали, что город потому так разрушен, что наши войска брали его пять раз, но всякий раз бойцы добирались до спирта – у реки стоял спиртзавод, солдаты напивались, и немцы их прогоняли. Вот и пришлось стереть город с лица земли – вместе с соблазнительным заводом. Отец говорил, что это брехня.

Старожилы еще помнили те времена, когда русские люди – до осени 1948 года – жили бок о бок с немцами, и вспоминали о немках, которые готовы были отдаться солдату за кусок мыла, чтобы потом этим мылом вымыть тротуар; о рыбаках, которые умирали от голода, но сдавали всю рыбу – до последнего хвоста – на приемный пункт; о стариках, владевших искусством ухода за булыжными мостовыми; о трактористах, которым не лень было вывинчивать шипы из задних колес трактора «Ланд-бульдог», чтобы только перебраться через асфальтовое шоссе на другое поле, где те же пятьдесят два шипа приходилось вновь ставить на место; о душераздирающих историях любви русских офицеров и немецких женщин...

Особенно сильное впечатление произвела на меня история о дверной ручке. Перед депортацией хозяин дома – немец – снял с входной двери медную ручку, сказав на прощание новым хозяевам дома – русским: «Вернусь – поставлю ручку на место». В тот же день поезд увез его в Германию. Я пытался представить себе этого человека, который не взял с собой ни дорогую посуду, ни напольные часы, ни книги, а взял только ручку, медную ручку. Он берег ее как сокровище. Хранил в своем новом доме, спрятав в шкатулку. Вечерами любовался ею, вздыхал и, может быть, плакал, вспоминая о родине, о доме, где родился, где потом родились

его дети и внуки. Умирая, он завещал эту медную дверную ручку старшему сыну, чтобы он вернул ее на место. Я думал о том дне, когда по возвращении из школы вдруг обнаружу на нашей двери эту ручку в форме львиной головы и обомлею на пороге, не зная, что делать, как жить дальше...

– Этого никогда не будет, – сказал отец, когда я рассказал ему эту историю. – В этой игре назад не ходят. Да и не было никакой ручки, я думаю...

Эти обрывки истории не позволяли проникнуть за стену, которая отделяла русскую нашу жизнь от той, что была здесь семьсот лет до нас. Впрочем, и не сказать, чтобы я так уж отчаянно бился в эту стену. Русские приехали сюда не для того, чтобы изучать историю Восточной Пруссии и восстанавливать памятники ее культуры, – русские приехали сюда, чтобы жить. И я ничем не отличался от этих людей. Вопросы о прошлом этой земли возникали и тотчас угасали, потому что нужно было идти с друзьями на рыбалку, делать домашнее задание по математике или переживать из-за того, что в пятницу – по пятницам в бане был «женский день» – ребята пойдут вечером к бане подглядывать за голыми женщинами, а я должен лежать в больнице...

Однажды наша учительница устроила нам, мальчишкам, выволочку за то, что мы дразнили Веселую Гертруду, сумасшедшую немку.

– Старость нужно уважать, – сказала учительница. – А вы? Ведете себя как не знаю кто!

Кто-то из нас сказал, что старуха вечно бормочет что-то невразумительное: «Зайд умшлюнген, миллионен» и все такое.

– Зайд умшлюнген, миллионен, – подхватила учительница, – дисен кюсс дер ганцен вельт... Обнимитесь, миллионы, в поцелуе слейся, свет, братья, над шатром планет есть отец, к сынам склоненный! Дурачки вы дурачки, когда-нибудь вы поймете, что эти стихи Шиллера – это такая высокая, такая великая, такая светлая мечта о всеобщей любви и братстве... это такая печаль... – Голос ее задрожал. – И эта несчастная женщина... в ее темном разуме сохранился этот свет любви... это ее молитва, а вы... вы тут... а ты, Буйда, вынь тут мне руки из карманов! Что за привычка! Стой как полагается!

На какое-то мгновение стена рухнула. Или, точнее, на какое-то мгновение в ней появилась дырочка, в которую я мог заглянуть, и я другими глазами увидел эту старуху, эту Веселую Гертруду, ее седые космы, ее черные от грязи босые ноги – такие же, как у моей украинской бабушки... на несколько мгновений Веселая Гертруда стала таким же человеком, как я, не немкой, не чужой, а просто – человеком со своей болью и любовью... и это поразило меня... поразило – и тотчас забылось: едва учительница скрылась за углом, мы бросились в орешник – вырезать рогатки.

Однажды ранним летним утром мы с отцом отправились в дальнюю поездку на велосипедах. О цели поездки отец выразился туманно: «Посмотрим на другую войну». Останавливались на лесных хуторах, чтобы попить воды, и снова крутили педали.

Когда отец наконец сказал «стоп» и мы спрыгнули с велосипедов, я растерянно огляделся: кочковатое поле, лес, ивняки, за которыми угадывалась река.

Собиралась гроза – с моря шли лиловые тучи, громоздясь друг на дружку и вспыхивая по краям зловещим белым светом.

– Здесь, – сказал отец, вытирая платком лоб и шею. – Гросс-Егерсдорф.

Я читал о первом крупном сражении Семилетней войны, в котором возле деревушки Гросс-Егерсдорф в августе 1757 года столкнулись пятьдесят пять тысяч русских солдат под командованием фельдмаршала Апраксина и двадцать восемь тысяч пруссаков под началом фельдмаршала Левальда. Плохо обученные и полуголодные русские одолели великолепных пруссаков на их поле, но Апраксин внезапно отдал победу, отступив к Неману. В книге было написано о каких-то внутривнутриполитических причинах, побудивших Апраксина отступить, и о

плохом снабжении русской армии. Апраксина в России предали суду, но во время следствия он внезапно умер. Вот и все, что я знал об этих событиях.

– Шорлемер с тридцатью эскадронами атаковал оттуда. – Отец махнул рукой в поле. – Опрокинул нашу конницу и зашел в тыл пехоте. Затем на русских бросился принц Голштинский со своей кавалерией – еле отбились. Левальд атаковал пехоту Салтыкова и Вильбоа, прижал ее к лесу – вон там, и пехота дралась по колена в крови, но не отступала, хотя прусская артиллерия была по пехотинцам в упор. Русские держат нательные кресты в зубах и стоят насмерть. Пруссакам отвечают шуваловские гаубицы. Бой на опушке леса переходит в рукопашную...

Тучи почти сомкнулись над нашими головами, гром гремел не переставая, и отцу приходилось кричать.

– Русские части обескровлены и растянуты, правый фланг начинает отступать, солдаты дерутся в лесу, между деревьями, в кустах, штык против штыка, пруссаки ломают, гнут нашу пехоту, и тут...

На нас вместе с очередным ударом молнии и грома обрушился дождь, но отец и не думал прекращать свой рассказ.

– И тут, – кричал он, раздувая горло и вытаращив глаза, – генерал Румянцев без приказа – без приказа! – с четырьмя свежими полками атакует левый фланг пруссаков, опрокидывает их и обращает в бегство. Вперед! В штыки! Пруссаки бегут! Бегут! Они попадают под огонь своих же батарей, и отступление становится паническим бегством! Победа! Ура!

Я не трогался с места, замороженный этой историей, которую отец рассказывал под гром, молнии и проливной дождь. Он стоял прямо, не обращая внимания ни на молнии, полыхавшие у него над головой, ни на хлеставший по плечам дождь.

По спине у меня бежали мурашки. Я вдруг увидел эти серые мундиры, кивера, треуголки, плюмажи, эти оскаленные лошадиные морды и орущих от страха и ярости мужчин, их спины, локти и плечи, эти смертоносные штыки и чудовищные шуваловские гаубичные жерла, изрыгающие огонь и дым, много дыма, эти знамена и штандарты, тяжелые палаши и татарские сабли, на мгновение почувствовал ярость пруссаков и неукротимую стойкость русских, вкус медного нательного крестика во рту, запахи горелого пороха, конского пота и людской крови...

– Пруссаки отступили к Велау, – сказал отец, садясь на велосипед. – И нам пора.

Мы помчались полевой дорогой к лесу.

Я кричал, пригибаясь к рулю и боясь, что в меня ударит молния.

Грозу мы переждали у знакомого лесника, за столом я много и жадно ел, лихорадочно пересказывая только что услышанную от отца историю, взрослые смеялись, пили самогон и хлопали друг дружку по плечам.

– Немецкие лесники, – сказал отец, – прозвали тот лес Свинцовым. Сосны в Свинцовом лесу невозможно было ни спилить, ни срубить – столько в них засело пуль и шрапнели. Казалось, деревья состояли из одного свинца.

За нами подглядывали дети лесника. Я попытался их сосчитать, но сбился. Лесник жил с тремя женами. Вернувшись с фронта, он нашел на месте родной деревни сорок девять землянок, в которых жили одни незамужние девки да вдовы, *побиравшиеся телесно* по четырнадцати-пятнадцатилетним подросткам. Посоветовавшись с матерью и женой, он взял «за себя» и двух младших сестер жены, мужья которых погибли на войне, и все вместе они переехали сюда, в Восточную Пруссию. Никто не осуждал лесника, который спас молодых женщин от голода и унижительного женского одиночества.

Домой мы вернулись поздно, наскоро перекусили в кухне и легли спать.

За стеной разговаривали женщины. Я узнал голос Вали Дальнобойщицы, бабы наглой и бойкой. Но сейчас ее голос звучал приглушенно и испуганно.

Эта носатая кривоногая бой-баба была женой всех дальнобойщиков, которые останавливались за рекой, где находилась гостиница. Ее и прозвали Дальнобойщицей. От дальнобойщиков прижила двух дочерей разной масти. Этих девчонок соседи называли «стоялками»: с двенадцати лет каждый вечер выстаивали в подъезде с мужиками. У них – разномастные дети, девочки, Валины внучки. Эти внучки месяцами жили у бабушки, пока Валины дочки промышляли, а уж чем и где – никто не знал.

Пенсии Вале не хватало. Она решила устроиться на работу. Приглянулось ей место дворника. Но место было занято инвалидом Кирей. Киря крив и раскорячен, но дело знал – махал метлой усердно, не пил и не хулиганил. Валя ходила к коммунальному начальству, просила, жаловалась на жизнь – не помогало. Тогда она подпоила Кирю и выставила на позор. Кирю выгнали, взяли на его место Валю. Она работала усердно.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.